

**Головнев А. В.** *Антропология движения (древности Северной Евразии)*. Екатеринбург: УрО РАН; Волот, 2009. 496 с.

### Взгляд с горы

Для антропологии движения не так важен вид горы снизу, как взгляд с горы сверху <...> У кочевников взгляд с горы, полет сокола, бег волка или коня служат главными измерениями пространства.

(Рецензируемая книга, с. 373).

Вначале два высказывания о рецензируемой книге. Одно — из официальной (авторской?) аннотации книги, второе — с личного сайта Валерия Александровича Тишкова.

«Антропология движения измеряет реальность в единицах действия, ее главными категориями выступают динамика и статика, основными инструментами — мотивационно-деятельностные схемы и историко-антропологические сценарии. Эта новая методология открывает праисторию и историю в живой последовательности мотивов-действий исторических персонажей. Схемы и сценарии развития культур и народов

Евразии в хронологическом диапазоне от палеолита до средневековья представляют узловые сюжеты освоения человеком планеты, события древней истории индоевропейцев, алтайцев, уральцев, хунну, готов, викингов, Руси, монголов, кочевников Арктики. Особое внимание уделено кочевникам моря и суши, сыгравшим ключевую роль в истории Северной Евразии»<sup>1</sup>.

«Тема выбрана, осмыслена и представлена абсолютно по-новаторски и в блестящей литературной форме. Иногда даже кажется, что автор по специальности — литератор-фантаст, но нет: объем привлеченных археологических, антропологических, этнологических и исторических данных просто покрывает»<sup>2</sup>.

Рецензировать данную книгу сложно: объем привлеченных археологических, антропологических, этнологических и исторических данных действительно очень велик. Наверное, рецензию на эту книгу должен был бы писать археолог или специалист по древней истории, и я убежден, что такие рецензии появятся. Однако, поскольку книга адресована явно более широкой аудитории, право на собственное мнение получает и автор настоящей рецензии как один из так называемых «широких читателей». Оговорившись, что нижеследующее — не более чем частное читательское мнение, приступим.

### ***Основная идея книги***

Идея, лежащая в основе этой книги, на первый взгляд проста. Сомневаясь, вслед за Малиновским, в объяснительной силе «экономического человека», который занят исключительно поисками еды и озабочен исключительно выживанием, Андрей Владимирович Головнев (далее — АГ) вводит в двухмерную модель отношений человека с природой третье измерение: социальное. Эта трехмерная модель предполагает, что любая конкретная культура, будь то средневековая, античная, неолитическая и палеолитическая, принципиально неоднородна: в ней существует социальная иерархия, и прежде всего деление общества на элиту и всех остальных.

Модели поведения разных социальных слоев общества, в том числе и первобытного, изначально различны. Одна часть общества («масса», оседлая группа, собиратели — у них много имен) использует так называемую «схему пастыря», формирует то, что АГ называет «локальными культурами», другая (элита,

---

<sup>1</sup> Из аннотации: <[http://ethnobs.ru/anonce/\\_aview\\_b18227](http://ethnobs.ru/anonce/_aview_b18227)> (25.10.2009).

<sup>2</sup> В.А. Тишков. Личный сайт. <[http://www.valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya\\_/predstavly.html](http://www.valerytishkov.ru/cntnt/nauchnaya_/predstavly.html)> (25.10.2009).

подвижная группа, охотники) использует «схему хищника» и создает магистральную культуру, которая всегда подвижнее локальной и имеет тенденцию к экспансии. На социальном уровне на первый план выходят мотивы и действия элиты (С. 19–21), деятельностная схема<sup>1</sup> которой определяет «общее состояние и движение народа» (С. 14). На магистральной культуре (точнее, на ее носителях) держится коммуникация между группами — военная, торговая, языковая; элита всегда обладает «лидерством в движении» (С. 22).

Локальная культура (и соответствующая часть группы) занята экологической адаптацией, то есть хозяйственным циклом; магистральная — социальной адаптацией, то есть военными, брачными, религиозными, обрядовыми, торговыми и прочими действиями, которые «с трудом поддаются формализации» (С. 20).

Упомянутые выше поведенческие схемы — схему пастыря, схему хищника и другие — палеолитический человек «подсмотрел» и перенял у животных благодаря механизму, который в книге назван «мим-адаптацией» (С. 55). Свои деятельностные схемы люди, осваивавшие северную Евразию, заимствовали у медведей (С. 54). Схема пастыря заимствована человеком у травоядных. В Арктике человек учился у белого медведя: «Жоховская стоянка открывает <...> картину очередной мим-адаптации, когда охотники каменного века вырабатывали схему “хозяина Арктики”» (С. 100). Человек «не разрывал пут звериного мира, а переплетал их на свой лад. Он не отстранялся от звериного царства, а становился его пастырем, сверхзверем. <...> речь может идти не о жесткой оппозиции человек-животное, а об антропобиоценозе со сложными сплетениями соподчинения и взаимодействия» (С. 57).

Понятие мим-адаптации оказывается достаточно важным для формулируемой теории: АГ постоянно возвращается к нему, добавляя все новые краски в его описание. «Схема сверх-хищника предполагала не только технологию уничтожения и тактику выживания, но и идеологию власти, включающую контроль над пространством, агрессивное конкурентное поведение, расточительность в использовании ресурсов» (С. 80).

Таким образом, отношения между людьми и животными, с одной стороны, и разными (социальными) группами людей, с другой — оказываются схожими: «Одомашивание в эпоху неолитической революции началось с одомашивания людей — “собранных собирателей”, которые стали инструментом со-

<sup>1</sup> Деятельностная схема определяется автором как «образ жизни, перемещения, занятия, мотивации людей».

здания так называемой производящей экономики. <...> появление одомашненных людей, животных и растений представляется не спонтанным развитием самих оседлых тружеников, а “проектом” властвующей элиты. <...> Стержнем неолитической революции представляется “одомашивание людей” и создание нового типа социальной иерархии, основанной на “закрепощении” оседлых и власти подвижных» (С. 150). «В палеолите эти традиции рождались из мим-адаптаций, а в неолите произошла их социализация — переход различных “схем зверя” в социальные практики» (С. 151). Все это — и АГ этого не скрывает — вещи известные, но мало где это высказано с такой четкостью и ясностью.

Этот подход, этот взгляд на факты (как «доисторические», так и исторические) становится для АГ чем-то вроде изобретения микроскопа. Получив в свое распоряжение этот новый инструмент, он начинает с интересом разглядывать через него разные предметы, наводя его на объекты смежных наук и любясь красотой увиденного. Через эту призму он смотрит на факты археологии, этнографии, лингвистики — и обнаруживает иногда то, что прекрасно видели соответствующие специалисты и без этого прибора, иногда — известные факты в новом ракурсе, а иногда ему удастся увидеть и что-то новое, неожиданное, часто парадоксальное. Для демонстрации действия своего «микроскопа» АГ приходится детально излагать материал, пересказывать более или менее известные исторические факты: на десятках страниц дается популярное (для неспециалистов) изложение самых разных сюжетов: археологических сведений о заселении Евразии, истории норманнов и славян, истории монголов и арктических кочевников, истории финикийцев и египтян...

Вот один пример вписывания известных фактов в предложенную схему: дав описание взаимоотношений между славянами и викингами (русами), АГ суммирует: «Русы и славяне представляли собой разные мотивационно-деятельностные схемы: славяне осваивали ресурсы природы, русы — ресурсы славян» (С. 278). «Взаимодействие этих схем живо напоминает природный диалог хищника и травоядного, в этносоциальной иерархии — отношения властвующей элиты и подчиненного аграрного населения, в движении — пересечение магистральной и локальной культур». И далее: «Локальные культуры обеспечивали локальное освоение и обустройство территорий, в том числе рост городов, а магистральная увлекала за собой группы локальных земледельцев-промысловиков, выступая “транспортом” их миграции». И наконец: «Модель взаимодействия викинги-славяне — один из вариантов в спектре отношений кочевники-земледельцы» (С. 279). «Путь прокладывался двумя

культурами, будто двумя ногами: норманны пробивали его войной, славяне — осваивали трудом; норманны умели побеждать, славяне — выживать; норманны контролировали магистралы, славяне — локальные ниши» (С. 290).

От животных — хищников и травоядных, к первобытному человеку, реализующему соответствующие деятельностные схемы, полученные через мим-адаптации, и далее к активным кочевникам и пассивным земледельцам, и через социальную иерархию — к активным и подвижным социальным элитам, властвующим над покорным «локальным» населением: линия выстроена.

### *Структура книги*

Книга состоит из Предисловия (С. 7–34), в котором схематично излагаются основные идеи автора, и двух больших частей, разделенных на главы, призванные эти идеи проиллюстрировать. Первая часть — «Схемы» (С. 35–206) включает четыре главы: «Правдвигение», «Циркумпольярность», «Праэтничность» и «Коневоды и мореходы», которые посвящены древности; вторая — «Сценарии» (С. 207–419), состоит также из четырех глав, описывающих более новые периоды истории: «Викинги», «Гарды», «Кочевники Арктики» и «Монголы»<sup>1</sup>. Логика построения книги предполагает, что схемы, изложенные и проиллюстрированные на материале преимущественно археологическом, будут далее проявляться в сценариях развития исторических событий более близких к нам эпох.

Книга снабжена впечатляющим списком литературы (ок. 680 названий на русском, английском, немецком, французском, норвежском и других языках).

### *Точка отсчета: оседлые или кочевые?*

По АГ, антропология движения мыслит всю историю человечества начиная с древнейших времен как движение, как незавершенный процесс, как *picture in the making*<sup>2</sup>. «В бесконечной череде событий, — пишет АГ, — понятие итога знакомо истории только со слов историка. История никогда не останавлива-

<sup>1</sup> См. подробное оглавление книги на сайте: <[http://ethnobs.ru/publications/\\_aview\\_b18954](http://ethnobs.ru/publications/_aview_b18954)> (25.10.2009).

<sup>2</sup> «Человек древности был *homo mobilis*, “человеком мобильным”, для которого движение было привычнее покоя, — отмечает А. Головнев. — Все первые изобретения — метательные орудия, лук и стрелы, лодки и нарты, приручение животных — были совершены во имя преодоления расстояний. А главным преимуществом в древности были сложные пространственные стратегии, поскольку успехи людей зависели не столько от физических данных, сколько от искусства маневров и контроля над освоенной экологической нишей» (по-видимому, из интервью с АГ — см. <[http://rfaf.ru/rus/news\\_b1710\\_view\\_p1](http://rfaf.ru/rus/news_b1710_view_p1)> (25.10.2009)).

ется, но в сознании историка она всегда остановлена» (С. 6). И далее: «Если история или археология имеют дело чаще всего с последствиями или свидетельствами событий, то антропология движения ориентирована на познание импульсов и характера деятельности» (С. 10).

Книга АГ пронизана любовью — любовью к движению, любовью к активности, мобильности, динамике, любовью к кочевникам, к коням, оленям, нартам, ездовым собакам, лодкам... Это может показаться странным комплиментом для научной книги, но рецензент настаивает, что это именно комплимент, что это — несомненное достоинство книги. АГ любит кочующих, непоседливых, любопытствующих, и с легкой снисходительностью относится к оседлым: таким скучным... Противоположное мнение, утверждение, что высокая культура возникает только в эпоху земледелия и связана с оседанием на земле, он называет не иначе как устойчивыми («многовековыми, если не тысячелетними») стереотипами, с которыми, конечно же, невозможно бороться, но которые неверны, совершенно неверны: «реальные роли оседлых и кочующих в праистории выглядели иначе»... «В каменном веке оседлость была отклонением от нормы» (С. 147). Оседлость — либо деградация, обреченная на исчезновение, либо сознательный «проект» власть имущих: пра-город — это что-то вроде сознательно построенного ими загона для «выпаса» земледельцев. «В городе жили люди оседлые, но властвовали над ними люди подвижные. На долгое время в деятельности схеме правителей и воинов сохранились регулярные походы и визиты, и признаком власти служила подвижность правителя» (С. 149).

Снова и снова АГ атакует «стереотип взаимной отчужденности» кочевников и оседлых, которых традиция именует разрушителями-коневодами и жертвами-земледельцами. «Земледельцы-де радели о нивах, а коневоды жаждали новых пастбищ и сметали все на своем пути, включая оседлые цивилизации <...> [это противопоставление] тем более безосновательно, поскольку кочевники всегда стремились не уничтожить “мирных земледельцев”, а подчинить, по-своему оберегая их и храня». И далее: «Следы конных людей на оседлых поселениях, как и следы пеших людей на стоянках кочевников, свидетельствуют о взаимной политической и экономической зависимости. <...> Долгие века с момента эпохального “разделения труда” кочевники и оседлые сосуществовали в небесконфликтном, но устойчивом этноценозе» (С. 161).

Придуманная автором схема объединяет монголов — с норманнами, хунну — с северными оленеводами, морских бродяг — со степными всадниками. «Как некогда викинги захва-

тывали друг у друга корабли, считая власть над морем залогом господства на земле, так за оленье стада сражались со своими соседями ненцы, сознавая, что именно олени дают ключ к обладанию тундрой. Тех и других оседлые жители сел и городов называли пиратами и разбойниками» (С. 340). АГ предпочитает другие термины: элита, активная часть населения... Все, что движется, вызывает у автора необычайную симпатию, все что неподвижно — в лучшем случае брезгливую скуку.

### *Почему антропология, а не история?*

На это АГ отвечает вопросом: «Способен ли сегодняшний историк сопережить времена, когда оседлость была долей рабов и калек, когда само мироздание представлялось непрерывно движущимся? Вероятно, для этого сидячий историк должен превратиться в бродячего. Подобная роль ближе этнографу, имеющему возможность уловить в среде кочевников ритм повседневной мобильности, из седла или нарты различить относительность оседлых ценностей» (С. 12). Примеры такого подхода находим по всей книге; вот только один пример: говоря о древнерусской истории, АГ пишет: «Историки, стремящиеся централизовать историю, толкуют о единой воле народов, “выгодах хазар”, “интересах Руси”. Рисуемая ими картина сплоченной политики руси, хазар, печенегов или венгров наталкивается на другую реальность, когда отряды руси или печенегов одновременно служат разным государям <...> Стоит лишь укрупнить план — сменить международную панораму на историю людей — и главное место займут распри степных вождей или скандинавских князей» (С. 269). Но укрупнение плана, смена оптики, «история людей» — это и есть антропология.

Мне эта оптика интереснее и ближе, для меня она — убедительнее. И когда АГ вколачивает последние гвозди в крышку, прикрывающую «историков-централизаторов», я испытываю удовольствие: «Для историка-централизатора смысл исторического развития состоит в укреплении центральной власти. “Схема объединителя”, тщательно разработанная отечественной историографией, замещает реальную динамику мотивации статичной идеологемой державного единства и взаимного служения народа и вождя. На этой волне появились и прижились многие искусственные историографические конструкты, например “Киевская Русь”. Первые русские князья рисуются даже восстановителями некоего исконного единства. Вероятно, Олега немало удивил бы пафос историков, видящих его заслуги в том, что “единство русских земель было восстановлено” <...>, что его поход 882 г. “знаменовал окончательное объединение Верхней Руси и Русской земли Среднего

Поднепровья в единое древнерусское государство” <...>. Реальные мотивы князей <...> подменяются мотивацией историков, конструирующих образы дальновидных отцов-создателей нации» (С. 270).

Под каждым словом готов подписаться...

Впрочем, в главе «Праэтничность» антропологический взгляд автору, мне кажется, изменяет. Мы находим тут ссылки (С. 118) на Бенедикта Андерсона (историк и социолог), Эрика Хобсбаума (историк), Эрнста Геллнера (политолог), Энтони Смита (историк и политолог) — но нет ссылок на антропологов, прежде всего на Фредерика Барта. Соответственно и то представление об этничности, которое формулируется в этой главе, скорее ориентировано на нацию и нациестроительство, чем на этнографическую реальность. Некоторые утверждения АГ выглядят странно: так, он пишет, что аморфность древних этнических общностей «побуждает конструктивистов заявлять о недавнем рождении этничности» (С. 120). Ничего такого конструктивисты не заявляют: у Андерсона, Геллнера и других речь идет о недавнем возникновении *национального государства*, и как следствие *нации*, а не этничности. Различия позиций конструктивистов и примордиалистов в том, что вторые считают национальность (=этничность) изначальным свойством человека, а первые утверждают, что она, как и другие социальные институты и параметры, конструируется. Эти два подхода противопоставлены не жестко: многократно отмечалось (и АГ тоже это упоминает), что один из этих подходов хорошо объясняет устойчивость этничности, а второй — ее изменчивость, и только их синтез, когда он будет осуществлен, мог бы приблизить нас к «объемному» пониманию феномена этничности.

### *Ирония как метод*

Атаки на чужие концепции АГ ведет с решительностью, стремительностью и агрессивностью своих героев-кочевников. В этих атаках используется разнообразное оружие, и не последнюю роль играет ирония. Вот, например, замечательная история о «монтеспанском медведе» (С. 58–59). В длинном и узком туннеле пещеры Монтеспан обнаружена грубо слепленная из глины болванка высотой 60 см и длиной 1 метр 10 см. У болванки нет головы, место которой, возможно, занимал череп медвежонка, найденный на полу, перед передней частью болванки. Исследователи реконструируют это как ритуальную имитацию охоты: древние обитатели пещеры надевали на болванку шкуру медвежонка с головой и метали в нее дротики. Дав эту экспозицию, АГ принимается за работу: «От книги к книге

ученые и популяризаторы насыщают деталями сцену истязания в тупике пещеры чучела медвежонка... Героями событий представляются древние охотники, преодолевшие километровой путь по пещерному тоннелю, доступному сегодня лишь опытным спелеологам. Сомнения в подобном сценарии рождаются вовсе не от того, что “тир” (или “камера пыток”) тесноват для группы метателей копий, дротиков и глиняных шаров. Подобная психологическая схема не имеет ничего общего с нравами реальных охотников на медведя, которым не свойственна страсть к терзанию медведя или его трупa. <...> Монтеспанский “научный сценарий” выражает <...> установку <...> на предельное отчуждение человека и зверя. При этом палеолитический охотник рисуется маньяком, терзающим в затхлом подземелье мохнатое чучело» (С. 59). Все. Читатель не может сдерживать смех, враг повержен, теория АГ торжествует. Самое занятное, что его рассуждения и выводы действительно убедительны, несмотря на то что узкий специалист, возможно, вполне мог бы подвергнуть сомнению их обоснованность.

Или вот еще, о пещерной живописи: «Магия <...> действительно открывает горизонты интерпретации ранних культур. Однако она вовсе не сводится к приемам насыщения, и магическое толкование не должно сужаться до представления шедевров древней живописи пещерной поваренной книгой. Наверное, в палеолите, как во все времена, были любители хорошо поесть, но не они, как правило, становились художниками <...> Здесь ели не то, что рисовали, а рисовали не всегда то, что ели» (С. 60).

И снова АГ использует свою теорию как инструмент интерпретации, как оптический прибор, призму, через которую привычное видится как незнакомое: «В манере художника выражен взгляд не потребителя, целящегося в добычу, а пастуха, любующегося “своими зверями”. В нем читается “схема пастыря” (суперхищника), которую шелльские и мустьерские охотники постигали в диалоге с медведем на высокогорье» (С. 62). «Реализм картин — выражение <...> субъективного взгляда художника, познавшего зверя. Не убившего и съевшего, а овладевшего его поведенческой схемой (что не исключает промысла, а делает его виртуозным)» (С. 64).

«Вероятно, первые опыты приручения были “союзом зверей”, а не заготовкой “живых консервов”, как рисуется современному потребителю сознанию. Древние варианты “союза зверей” напоминали скорее взаимоприручение <...> человеком постигал каноны стайности и стадности, удовлетворяя сиюминутно-гастрономическую прихоть, а попутно наращивая набор звериных стратегий. Трудно сказать, кто к кому перво-

начально приспособился, прачеловек к прасобаке или наоборот; скорее всего, это была взаимная адаптация» (С. 49–50).

### *Движение как эволюционное преимущество*

Мысль, что движение — это не просто хорошо, но еще и выгодно, понижает всю книгу. Неандерталец был физически мощнее сапиенсов и по всем признакам превосходил их — тем не менее он проиграл: «превосходство *sapiens* над *neanderthalensis* не кажущиеся сегодня неоспоримыми физические преимущества, а обстоятельства и действия, сделавшие эти черты преимуществами» (С. 45). Противники неандертальца победили благодаря большей адаптивности, способности перенимать и осваивать новое, иначе говоря, «благодаря выработанному в движении искусству коммуникации» (С. 46).

Глава 1 посвящена палеолиту, культурам охотников-художников, взлету искусства в Европе в начале верхнего палеолита. Никаких новых фактов АГ здесь, естественно, не предлагает, но зато этот вполне известный даже непрофессионалам материал получает в его руках нетривиальную интерпретацию. То же можно сказать и про Главу 2, которая посвящена освоению Севера Евразии: Берингии, побережья Ледовитого Океана, устья Лены, Земли Санникова, затем Скандинавии... И снова: факты известны, взгляд — свежий. АГ опровергает взгляд на древних жителей Севера как на несчастных, вечно мерзнущих и голодающих существ, которые шли на Север «не от хорошей жизни». Он рассказывает о многочисленных украшениях, найденных археологами в захоронениях на поселении Сунгирь — 25–24 тыс. лет назад, и заключает: «Любая из мыслимых трактовок склонности обитателей Сунгири к “избыточной бижутерии” <...> не имеет ничего общего с мотивами страданий от холода: двадцать мамонтовых браслетов вряд ли согревали руки шестидесятилетнего сунгирьского охотника <...> Выраженные в погребениях знаковые доминанты рисуют образ успешного покорителя, а не угнетенного мученика» (С. 78).

Пример из другой главы. Известна гипотеза, что нужда в масштабной ирригации вызвала к жизни государственность. АГ предлагает иной взгляд: «Становление производящего хозяйства как преобразование собирательства в земледелие произошло, вероятно, не по желанию собирателей, а по воле управляющей ими элиты. По существу, земледелие — организованное собирательство, и земледельцами стали “собранные собиратели”» (С. 131). И далее: «Формирование элиты — “собирателей собирателей” <...> могло происходить только в среде носителей “схемы хищника” <...> Первые признаки крупных организованных сообществ людей приходятся на начало голоцена

<...> вероятно, именно тогда “загонщики” переключились со стад зверей на сообщества людей. К тому же времени относятся первые опыты приручения диких животных <...> Скорее всего, в круг приручаемых попали и группы собирателей» (С. 132).

Движение, таким образом, составляет важное эволюционное преимущество. «Собственно лидерство в движении и придавало культуре качество магистральности. Как только она теряла это превосходство, власть над пространством и людьми захватывала новая магистральная культура, нередко окраинная, “дикая и варварская”» (С. 22). При этом социальный статус людей никогда не был однороден: активное меньшинство, люди «схемы хищника» доминируют над пассивным большинством, людьми «схемы собирателя» — и различия между ними с точки зрения людей, живших 6–8 тысяч лет назад, могли быть не менее существенными, чем различия между человеком и животными.

### *Один пример более подробного разбора*

Мне легче всего показать общее впечатление от книги на примере того раздела, в котором я чувствую себя более уверенно — на примере раздела «Праязык и прародина» (С. 134–146). АГ начинает с пересказа принципов глоттохронологических подсчетов времени расхождения языков и совершенно справедливо критикует эти принципы и эти подсчеты за неучет противоположных процессов — процессов схождения языков. Дело, однако, в том, что эта критика, мягко выражаясь, не нова и в изложении АГ далека от убедительности. Глоттохронология не дает надежных результатов не потому, что «тенденция экспансии литературных языков доминирует уже полтысячелетия» (С. 135) — глоттохронология, как правило, не имеет дела с литературными языками; и не потому, что языки бесписьменных сообществ «развивались по своим сценариям, главное место в которых занимала система коммуникаций» (С. 135), и не потому, что в истории существовали постоянные контакты между языками (С. 136) — а языки письменных сообществ что, лишены коммуникации? Гипотезе Сводеша ни в коем случае не «остается ютиться на островах, и то при условии их изоляции» (С. 136) — она прекрасно работает и для менее экзотических ситуаций; из всего изложенного никак не следует, что «языковое схождение играло не менее заметную роль в праистории и формировании языковых семей, чем расхождение» (С. 136).

При этом сам этот вывод о важности наряду с дивергентными конвергентных процессов в истории формирования современ-

ной языковой карты, вне всякого сомнения, верен: хотя АГ приходит к этому заключению скорее не благодаря, а вопреки своим же собственным аргументам, он делает совершенно верное заключение, к которому задолго до него уже пришла лингвистическая наука. Вспомним классическую теорию языковых союзов Н.С. Трубецкого и громадную литературу его последователей, работавших на самом разном материале.

То же самое можно сказать и о другом выводе АГ: идея, что праистория языковых семей «может быть представлена не постепенным распадом на языки, а ритмом схождения и расхождения», причем движение народов (миграции) способствовали контактам и, следовательно, языковому выравниванию, а оседлое существование усиливало изоляцию языков и их расхождение (С. 137) — эта идея, несомненно, верна. Собственно, доказательству этого посвящена небольшая книга Роберта Диксона [Dixon 1997], на которую АГ не ссылается, но которая вызвала лет пятнадцать назад очень острый отпор со стороны представителей московской школы диахронической лингвистики (прежде всего С.А. Старостина и Е.А. Хелимского). Иными словами, это не новая идея, и лингвисты спорят по этому поводу уже довольно давно. Однако очерченный выше подход к антропологии, инструментарий, которым пользуется АГ, позволяет ему каким-то загадочным образом делать верные выводы из неполных посылок. Приведу цитату, предлагающую вполне умозрительную и недоказуемую картину, но интуитивно не вызывающую отторжения: «Не исключено, что в эпоху холодного палеолита в лощинах Карпат или долинах Рейна жили группы людей с особыми диалектами, но между ними передвигались те, чей язык был средством межгруппового общения. Эти мобильные и доминантные охотники на зверей и женщин торили и контролировали дальние пути. Поддерживаемая ими коммуникация создавала в мозаике многоязычия эффект двуязычия, когда в каждом отдельном месте люди общались на двух языках — локальном и магистральном <...> В этом случае то или иное слово-понятие (например, “обезьяна” у индоевропейцев) могло распространиться не потому, что люди жили бок о бок с обезьянами, а потому, что слово из южной локальной нише вышло на магистраль и обрело известность» (С. 139).

И далее, уже без оговорок типа «не исключено» или «вероятно», АГ уверенно заключает: «В древности билигвизм был обыденностью. Следовательно, расчеты языковой истории должны исходить не из формулы одного ветвящегося языка, а из ситуации локально-магистрального двуязычия» (С. 140). Так открывшаяся ему новая оптика позволяет в очередной

раз взглянуть на известные факты новыми глазами и придти к в общем вполне разумным выводам, которые АГ повторяет неоднократно, ср.: «Распространение этноязыковых общностей было не итогом отдельных переселений, а состоянием устойчивой коммуникации, в поддержании которой ключевую роль играли самые подвижные группы. Менее мобильные сообщества отличались замкнутостью языковой среды, и контакты между ними происходили не столько в их взаимодействии, сколько через посредника — магистральную культуру» (С. 146).

Тот же механизм работает и там, где АГ рассуждает о прародине индоевропейцев. Вновь нарисовав образ древнего индоевропейца — «воинственного подвижного скотовода, охватывающего своими миграциями огромные пространства», для которого домом является не точка на карте, а все освоенное пространство, АГ заключает: «Поэтому индоевропейская прародина по определению не может быть узкой: феноменологически и географически она представляла собой суперкультуру больших пространств, соподчинявшую ряд локальных культур» (С. 141).

Возможно, все именно так и было — а возможно, что и не было. Сила подобных универсальных схем в том и состоит, что они способны вполне убедительно объяснить и интерпретировать любые факты, и каждый раз на выходе получается примерно одно и то же, независимо от того, какие именно факты — археологические, исторические или лингвистические — «загружены» в систему на входе. В этом же, понятное дело, одновременно и слабость подобных схем. Это — то, за что не вполне разобравшиеся в сути дела люди критикуют структурализм как метод: им кажется, что задача структурного анализа — во что бы то ни стало обнаружить заранее известную схему в хаосе фактов и на этом успокоиться (им невдомек, что настоящий структуралистский анализ, в отличие от его имитации, начинается как раз там, где заканчивается поиск схемы, что схема — это просто удобный инструмент анализа, а не его результат).

### *Трудно удержаться от цитирования*

В главе «Гарды» АГ дает популярное, увлеченно написанное изложение истории IX–X вв.: истории викингов, русов, Святослава... В этом описании подчеркнуты и выделены те элементы, которые подтверждают общую идею: движущие силы и мотивации героев этой истории переинтерпретированы через те же универсальные схемы, что и неолитические события, известные нам по археологическим находкам.

Некоторые пассажи хочется переписывать дословно: «Кочевая дружина, сопровождавшая князя в походах, — его мир, смысл существования. Это и есть *русь*, с которой и ради которой князь побеждал врагов и покорял новые земли. “Малая родина” Святослава — рать-дружина, во внутреннем устройстве которой многое основывалось на началах “дружбы”. Подобно тому, как команда корабля <...> была прообразом европейской демократии, дружина-русь стала прообразом устройства государства, принявшего ее название» (С. 265).

Вся глава о кочевниках Арктики рисует вполне убедительную картину, которую АГ суммирует (С. 355–356) в нескольких строках. Циркумполярный мир, пишет он, принято рассматривать как далекую окраину обитаемых земель, населенную «малочисленными народами», уцелевшими в многовековой борьбе с жестокой природой. Этот, как АГ его называет, «уменьшительно-ласкательный» взгляд имеет мало общего с реальностью. В разные эпохи здесь доминировали магистральные культуры норманнов, эскимосов-туле, русских поморов, коми-зырян, якутов, ненцев. «На Севере рождались и развивались культуры больших пространств, а не малых народов» (С. 355). АГ показывает, что арктические жители обладали гораздо большей мобильностью, чем южане, и «редконаселенность Севера, обычно воспринимаемая как ущербность, имеет обратную проекцию — “человека пространственного”» (С. 366).

К моему удивлению, я не нашел в книге напрашивающегося раздела про чукчей. Казалось бы, трудно найти пример, который лучше иллюстрировал бы теории автора. Однако в соответствующем месте книги есть параграф «Китобои Беринги», но нет ни слова о воинственном, кочевом, активном народе — соседе этих китобоев.

И снова изобретенная АГ схема применяется к известному материалу, на этот раз к монголам. Степь, по АГ, колеблется между локальной замкнутостью и магистральной экспансией, переживая смены подъемов и спадов. Военная тактика монголов унаследована от звериной охоты. «Взрывы экспансии» происходили благодаря освоению монголами деятельностной схемы «гарем-табун-облава», благодаря трем страстям — к женщинам, лошадям и облавной охоте (С. 417). Покорение народов основано на инстинкте превосходства и естественного права хищника (С. 418).

Некоторые фразы отличаются такой идеальной завершенностью, что обречены быть растащенными на эпиграфы. Чего стоит хотя бы «человек прямоходящий произошел от человека бегающего» (С. 38).

### «Грядущий Аттила»?

Читая книгу АГ, я все время вспоминал — не мог не вспоминать — другую книгу, опубликованную в прошлом году: книгу Игоря Ефимова об «истории взаимоотношений» оседлых и кочевых, индустриальных и аграрных, развитых и отсталых культур [Ефимов 2008], которые он называет соответственно «альфидами» и «бетинцами». «Охват» работы Ефимова едва ли меньше, чем у АГ: от атак арамейских кочевников на Ассирию, через нападения галлов на этрусков и гуннов на Китай, к налетам даков, готов, франков на Рим, к атакам болгар и славян на Византию, монголов — на Китай и Русь, и к войнам Российской империи против чеченцев и черкесов... На этом широчайшем материале Ефимов демонстрирует необъяснимость агрессивной энергии кочевников и неизбежность их победы и параллельно — относительную развитость оседлых культур и их обреченность...

Только одна цитата, чтобы показать, как близки размышления этих двух авторов. Говоря о бесконечных войнах кочевников с оседлыми, Ефимов пишет: «Как ни отраднo было бы найти причину атак кочевников среди явлений материального мира, честный исследователь, повздыхав, должен будет оставить эти попытки. Снова и снова мы будем вынуждены отказаться от “научно-рационального” подхода и искать движущий импульс этих извержений военной энергии в загадочной микроклетке явления — в душе воина-кочевника, скачущего со своим копьем — мечом — луком — на неприступную каменную стену — города — крепости — замка, построенную народом-земледельцем» [Ефимов 2008: 83]. Думаю, что АГ с этим утверждением был бы согласен.

Рационалистов-историков, ищущих экономические, демографические и иные логические, рассудочные причины исторических событий, Ефимов не любит так же сильно, как АГ. «Историю, — пишет он, — творит бушевание человеческих страстей. Но описание — изучение — ее оказалось в руках людей, научившихся подавлять собственные желания ради торжества логического мышления» [Ефимов 2008: 122]. Думаю, что АГ подписался бы и под этими словами тоже.

А под этой фразой из книги АГ, полагаю, охотно подписался бы Ефимов: «При “чтении” истории из седла или с борта корабля складывается впечатление, что оседлые культуры развивались во многом благодаря их контактам и конфликтам с кочевниками и взаимодействие-противоборство динамики и статики было ведущим механизмом истории» (С. 206).

Но вот что удивительно: одни и те же факты, одно и то же противоборство эти два автора видят с разных сторон. АГ — ярост-

ный сторонник кочевника. Ефимов — столь же яростно отстаивает правоту земледельца. Для АГ кочевник — дрожжи мировой истории, ее бродило, причина ее движения вперед, не говоря уж о том, что кочевник ему крайне симпатичен. Ефимову кочевник отвратителен; для него кочевник — варвар, который лишь тогда включается в движение мировой истории, когда, жестоко подмяв под себя очередную оседлую культуру, сам становится оседлым, привыкает к комфорту жизни за каменными стенами, к гарантированному куску хлеба, который дает земледелие... Ефимов смотрит на кочевника со вполне обоснованным страхом; АГ — с не вполне понятным обожанием... «Встреча народов, находящихся на разных ступенях развития цивилизации, народов Альфа и Бета, всегда будет рождать в народе Бета сильнейший импульс ненависти, иррациональный порыв уничтожить народ Альфа», — формулирует Ефимов. «Вовсе не обязательно рассматривать “кочевые метастазы” как зловещие знаки неминуемой гибели оседлого сообщества, — возражает ему АГ. — Долгие века с момента эпохального “разделения труда” кочевники и оседлые сосуществовали в небесконфликтном, но устойчивом этноценозе» (С. 161). И в другом месте: «Залогом амбиций, риска и успехов морских кочевников была их искренняя убежденность в своем превосходстве над оседлыми жителями» (С. 225).

Жаль, что эти два автора не читали друг друга: мне было бы очень любопытно почитать их полемику...

\* \* \*

В каждой главе, в каждом параграфе рецензируемой книги специалист в той или иной узкой области наверняка найдет ошибки, неточности, натяжки и прочие объекты для критики. Собрав «коллектив специалистов» по эпохе великого переселения народов, мустьерской культуре, ненецкому оленеводству, эскимосской археологии, истории норманнов и славян, древней истории монголов, можно, наверное, составить длинный перечень таких неточностей. Однако смысл книги в другом: предложить свежий взгляд на знакомый материал, перевернуть привычную парадигму исследования. Приведу еще один пример такой смены точки зрения, чтобы оправдать эпиграф к данной рецензии: подробно и доступно пересказывая «Тайную историю монголов», АГ неожиданно нарушает плавное течение текста: «Обычно в антропологических описаниях подчеркивается значимость горы как доминанты тюркско-монгольского пространства. <...> Для антропологии движения не так важен вид горы снизу, как взгляд с горы сверху <...> У кочевников взгляд с горы, полет сокола, бег волка или коня служат главными измерениями пространства» (С. 372–373).

Как, я надеюсь, становится ясно из данной рецензии, некоторые сложности подстерегают рецензента и при попытке понять, какому читателю адресована эта книга. Отдельные ее части, рассуждения, теоретические соображения явно предполагают профессионального читателя. С другой стороны, многостраничные пересказы более или менее известных археологических или исторических событий и фактов скорее наводят на мысль о популярной литературе. Одно можно сказать с уверенностью: книга написана эмоционально, увлеченно, местами взалех и вряд ли кого-то оставит равнодушным — будь то профессионал или любитель.

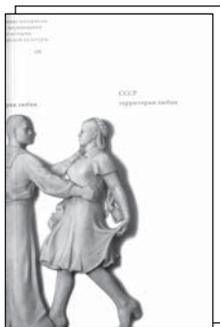
И последнее. Перед рецензентом этой книги стоит серьезный вопрос: имеет ли право специалист в какой-либо области антропологии (которая, как известно, представляет собой одну из самых разнообразных, разнохарактерных и разнонаправленных наук, объединяя археологию, этнографию, фольклористику, лингвистику, этологию, социальную психологию и некоторые другие конкретные области знаний) выходить за рамки своей узкой области и обращаться к смежным областям, в которых он неизбежно оказывается дилетантом? Имеет ли право специалист строить глобальные гипотезы и предлагать широкомасштабные идеи, которые почти всегда грешат поверхностностью, неспособностью учесть все факты, неумением понять тонкости соседних областей знания? Имеет ли он право лезть «в чужой огород» и предлагать — пусть дилетантски и умозрительно — решения «не своих» задач? Вообще — имеет ли ученый право на фантазию, на рискованные гипотезы и обобщения, или глобальные обобщения всегда чреваты «гумилевизацией», то есть превращением науки в более или менее талантливую беллетристику?

Думаю, что на все эти вопросы можно дать положительный ответ. В конце концов, если ученый не находится в постоянном движении, он теряет важнейшее преимущество представителя «магистральной культуры», исчерпывающе описанное АГ в рецензируемой книге: способность взглянуть на свой объект сверху, «с горы».

### Библиография

- Ефимов И.* Грядущий Аттила. Прошлое, настоящее и будущее международного терроризма. СПб.: Азбука-Классика, 2008.
- Dixon R. M. W.* The Rise and Fall of Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

*Николай Вахтин*



**СССР. Территория любви** / Под ред. Н. Борисовой, К. Богданова и Ю. Мурашова. М.: Новое издательство, 2008. 272 с.; илл.

В последнее десятилетие как в российской, так и в зарубежной науке (социологии, истории, антропологии) изучение культуры советской эпохи стало особенно популярным (такие исследования нередко выполняются в рамках описания феномена тоталитарного государства)<sup>1</sup>. В ряду исследований мыслительных категорий, идеологием, культурных практик, формирующих советский дискурс, стоит и сборник статей «СССР. Территория любви» под редакцией Н. Борисовой, К. Богданова и Ю. Мурашова. Из аннотации ясно, что в сборник включены материалы конференции «Любовь, протест и пропаганда в советской культуре», прошедшей в ноябре 2004 г. в Университете г. Констанц (Германия).

В кратком предисловии к сборнику К. Богданов настаивает на необходимости изучения специфики понятия «любовь» в советской культуре. С одной стороны, необходимо изучение любви как специфически (политически грамотно) артикулируемого социального опыта советского человека (ведь советская идеология предполагает специфичность опыта на всех уровнях — как в области мышления, так и в сфере эмоций), с другой — исследование культурного и со-

**Ксения Андреевна Гаврилова**  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге  
kgawrilova@eu.spb.ru

<sup>1</sup> Например, многочисленные работы (чаще всего сборники статей), посвященные анализу советского кино: [Советское богатство 2002; Кино 1995; История страны 2004; Кинематограф оттепели 1996; Кинематограф оттепели 2002; Лидерман 2005].

циального осмысления понятия «любовь» позволит проследить те «герменевтические вариации», которые сопутствуют употреблению интимной лексики и одновременно обуславливают особую дихотомию публичного и приватного пространств в жизни советского человека (С. 7–8). Советская культура богата текстами, репрезентирующими любовь в «правильном», отвечающем ожиданиям эпохи ключе; но поскольку идеология советского государства менялась с переходом от одного политического лидера к другому, понятие любви, сферы интимного, степень политизации интимной лексики также эволюционировали. Особый сложившийся «язык любви» трансформировался вместе с государственной политикой, поэтому в качестве важнейших задач сборника Богданов называет анализ коммуникативного потенциала («действенности») литературного, кинематографического и др. «языков любви», их влияния на социальную коммуникацию людей, распределения (взаимодействия) сфер публичного и приватного в советской культуре (С. 8).

Сборник состоит из предисловия, двенадцати статей, приложения с информацией об авторах и аннотации на английском языке. Статьи расположены в сборнике, с одной стороны, по принципу «от общего к частному» (первые статьи, вводящие читателя в контекст исследуемой культурной ситуации, одновременно собирают последующие работы, посвященные более частным вопросам, под общую «концептуальную крышу»), с другой — по принципу хронологии (в конец сборника помещены исследования, посвященные постсоветской культуре). Первая статья — Ю. Мурашова (С. 8–26) — представляет читателю сборника краткое описание и анализ европейского опыта репрезентаций любви: перед читателем мелькают в исторической перспективе магистральные произведения мировой литературы («Царь Эдип» Софокла, роман «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта»), русской классической литературы XIX в. («Евгений Онегин» Пушкина, «Первая любовь» Тургенева, «Кроткая» Достоевского, «Что делать?» Чернышевского и др.) — фоном для их анализа служат картины Вермеера и Карелина, изображающие сцены чтения любовных писем. Обобщая «проблемы языкового кодирования интимности», настаивая на принципиальном отличии границ интимного в русской и европейской традициях (такое утверждение делается на основе анализа двух картин: у Вермеера девушка читает письмо перед раскрытым окном — соответственно, письмо рассматривается как замкнутое интимное пространство любовной коммуникации; у Карелина девушка читает письмо в присутствии родителей — соответственно, сфера интимного жестко контролируется дисциплинирующей инстанцией семьи), Мурашов

исследует способы репрезентации любви в советской культуре. В качестве материала для анализа выбираются показательные кинематографические тексты о любви: фильмы «Падение Берлина» и «А если это любовь?», к которым будут активно обращаться авторы других статей сборника. Советская любовь (начиная с 1930-х гг.), считает Мурашов, полностью подчинена «родительскому» взгляду коллектива, влюбленные герои инфантильны, лишены сексуальности и силы воли; делегируя свой голос политическим или социальным авторитетам, обязанным распознать любовь, озвучить и институционализировать ее, герои лишаются собственного интимного пространства, интимного «языка любви». Будучи «вступительной» (по положению в сборнике), статья Мурашова призвана задать общую рамку восприятия феномена любви в советской культуре, предварительно и «в общем» познакомить читателя с концепцией любви, которая будет представлена в этом сборнике, обрисовать ситуацию «крупными мазками» и поместить ее в глобальный контекст мировой культуры (контролируемая, регламентированная государственной идеологией советская любовь на фоне эволюции европейской культуры от безличного Рока высокой античной трагедии к интимизации пространства любви, «автономности» чувства в культуре нового и новейшего времени). На интуитивном уровне наличие такой статьи в качестве вступительного слова ко всему сборнику оправдано, но именно ее «аннотационность» (автор в «двух словах» обрисовал феномен советской любви, чтобы далее другие, в т.ч. и он сам, разрабатывали тему не на пустом месте) делает *текст* неубедительным, слишком абстрактным (статья в большей степени требует принятия на веру, чем логических операций или размышления).

В качестве исследуемого в работах сборника материала выступают все актуальные для XX в. виды искусства: от кинофильмов и фотографий до массовой литературы и газетных публикаций. Большая часть статей посвящена исследованию репрезентации любовных переживаний, анализу языка любви, исследованию категории интимного в советских кинофильмах. Так, этой проблематике посвящены две статьи Ю. Мурашова (С. 8–26, 60–78), статьи Н. Борисовой (С. 40–60), Т. Дашковой (С. 146–169), Ю. Лидерман (С. 224–233). Статьи Н. Борисовой и Т. Дашковой посвящены кинокультуре оттепели, но в фокусе внимания исследовательниц оказываются разные ее аспекты. Статью Борисовой можно условно отнести к разряду «вводящих в контекст», очевидно, именно поэтому она помещена в начало сборника — на стратегически важное место. На материале десятка «магистральных» советских фильмов — наиболее популярных и поэтому показательных — Борисова просле-

живает эволюцию концепта «любовь» и способа его репрезентации в советском искусстве с 1930-х годов (в качестве фона дан небольшой экскурс в 1920-е гг.) до эпохи оттепели; в фокусе внимания оказывается советское кино, но проводятся параллели и с советской литературой, в основном массовой. Вектор эволюции можно описать следующим образом: от изображения любви как принадлежности (характеристики) образцового героя («социалистическая добродетель как необходимая часть любовного кода», с. 43), от неразделения интимного и публичного пространства (обязательное присутствие в любовных сценах фигуры власти / вождя / трудового коллектива, легитимизирующего отношения героев), от неразличения языка повседневности и языка любви советское кино движется в сторону деидеологизации любви, индивидуализации чувства и языка любви, наконец, к появлению особой интимной территории героя. Итогом эволюции становится новый альтернативный взгляд на любовь в кино и в литературе: «норма» любовного поведения обсуждается / проблематизируется, но не предписывается; мир советского человека меняется — в новом мире взгляд на любовь принципиально субъективен, индивидуален; ценностные и поведенческие ориентиры сталинской эпохи расшатываются, в результате высвобождается место для уникального, «неклишированного» опыта. В статье Борисовой присутствуют те же следы стиля «крупными мазками», который наблюдается в вводной работе Мурашова. Ее основная задача — обрисовать общую эволюцию любовного дискурса советского кино, причем сделать это в разных аспектах (тип героя, репрезентация эротического, гендерные и социальные проблемы, сравнение литературных и книжных героев и т.д.).

Несколько по-другому к анализу текстов кино подходит Т. Дашкова (С. 146–169). Для рассмотрения она выбирает несколько десятков советских фильмов, причем процедура анализа у нее четко формализована: разбираются типичный конфликт (сюжет) — персонажи — киноязык, затем конкретные фильмы (в качестве иллюстрации) сначала кинематографа сталинской эпохи, затем кинематографа оттепели. Дашкова сравнивает два киностыля по указанным трем параметрам и пытается ответить на главный вопрос исследования: какая техника (какие приемы) изображения реальности используется в фильмах разных эпох (именно изменения в изображении реальности / индивидуального, «частного» человека Дашкова считает маркером смены кинопарадигмы). Основным выводом ее исследования становится тезис о том, что кинематографические средства «большого стиля» работают на идеологическую четкость и однозначность фильма (одномерность, завершенность

героя), в оттепельном кино появляется пространство для неучитенных смыслов, становятся возможными открытый финал и неоднозначные персонажи. В оттепельном кино расширяется сюжетный репертуар, персонажи становятся не отвлеченными абстракциями, не социальным типом, а узнаваемыми, живыми людьми; в кино появляется место для показа повседневности, бытовых деталей и практик.

Характерно, что обе исследовательницы приходят к практически идентичным (по крайней мере, гармонизирующим) выводам, что обусловлено единством материала и близостью методов исследования (дискурсивный, семиотический анализ текстов, рассмотрение эволюции приемов киноповествования в исторической перспективе). К иной методологии прибегает в своей второй статье, посвященной анализу знаменитого фильма Дзиги Вертова «Колыбельная», Ю. Мурашов (С. 60–78). Сразу отметим, что мысль об этом тексте напрашивается сама собой просто при чтении названия сборника. Любовь к государству (власти, вождю) и любовь государства — как чувство, объединяющее всех представителей советского социума (в данном случае обобщенным образом социума выступают советские женщины) как нигде четко обрисованы Вертовым в «Колыбельной». Мурашов предпринимает анализ фильма в психоаналитической перспективе: в качестве концептуальной призмы для анализа скрытых смыслов фильма привлекаются сюжеты об Эдипе и Дон Жуане. Пытаясь оправдать наложение поведенческих схем этих архетипических героев на образ Сталина в «Колыбельной», Мурашов помещает в текст статьи экскурс в область истории «визуального» (напр., характеризует эволюцию «мужского взгляда» в связи с развитием сначала книгопечатания, затем кинематографа). В результате анализа ряда киноприемов изображения Сталина, с одной стороны, и изображения женщин — с другой (напр., приемов монтажа, включения символических деталей, расстановки сексуально-эротических акцентов; сразу заметим, что детали / намеки / акценты, увиденные Мурашовым, часто не очевидны читателю, а, наоборот, кажутся привнесенными в интерпретацию фильма — по модели «я хочу прочесть кадр двояко — я найду способ его так прочесть»), Мурашов приходит к выводам, уже частично артикулированным им в первой статье: героини советского кино 1930-х гг. инфантильны, а вождь изображается отцом всех детей и мужем всех женщин. Итогом статьи становится утверждение о том, что глубинным смыслом «Колыбельной» является изображение советского социума (читай: советских женщин) как пространства власти советского супермена Сталина: постоянно появляющиеся образы детей символизируют обращение детского сознания ко всемогущему

защитнику и отцу — Сталину. Таким образом, цель колыбельной — «успокоить растревоженное детское сознание» и провозгласить «силу и надежность советского женского и материнского коллектива» (С. 74). Хочется отметить, что к таким выводам можно прийти и без обращения к «психоаналитической перспективе»<sup>1</sup>, впрочем, мы не исключаем того, что при условии невладения терминологией данной научной парадигмы в совершенстве некоторые важные детали анализа могут ускользнуть от восприятия (вообще идиостиль Мурашова характеризуется крайней путаностью и плотностью терминологической сетки; иногда создается впечатление, что читаешь не текст, написанный на русском языке, а текст, написанный на несуществующем языке науки).

Наконец, последней статьей, посвященной анализу кинотекстов, является статья Ю. Лидерман (С. 224–233). Материалом анализа становятся фильмы постсоветской эпохи, конкретнее — фильмы конца 1990-х гг. Лидерман говорит о том, что советская эпоха воспринимается современным российским обществом как актуальное прошлое, общее владение этим «прошлым» является одним из стимуляторов национальной солидарности, а манипуляции этим актуальным прошлым становятся одной из тактик культурной политики государства. Все вышеперечисленные факторы объясняют особый успех фильмов, изображающих советскую действительность, в конце XX в. Характеризуя постперестроечное кино, Лидерман замечает, что некоторые советские стереотипы изображения продолжают жить и в российском массовом кино, напр., Лидерман упоминает непрерывность советской традиции в изображении любви не как самоценного чувства, а как проверки героя на человеческую состоятельность (кроме того, любовь может вводиться в киноповествование как способ «поговорить о власти» или как подвиг героя в рамках собственного жизненного проекта). Статья Лидерман несколько выбивается из ряда прочих статей о кино, так как внимание исследовательницы сосредоточено на художественных особенностях, приемах постсоветского кино, а собственно «советское» выступает либо объектом изображения рассматриваемых фильмов, либо претекстом (фоном), необходимым для чтения фильмов конца 1990-х гг.

Другим материалом для анализа способов репрезентации любви и конструирования языка любви становятся вербальные тексты. Анализу фигур молчания в советской массовой песне посвящает статью К. Богданов (С. 27–39), им же рассмотрен

<sup>1</sup> Напр., в ходе обсуждения фильма «Колыбельная» на семинаре по визуальной антропологии в Европейском университете участники семинара пришли к очень похожим интерпретациям спонтанно.

обширный корпус советских колыбельных в другой статье (С. 79–127); анализу представления интимного в популярной научной фантастике посвящено исследование М. Шварца (С. 170–187), и, наконец, на границе анализа языка поэтического текста и языка живописи проведено исследование С. Савицкого (С. 128–145).

Настоящими жемчужинами сборника являются статьи К. Богданова. Первая статья (С. 27–39) представляет один из возможных ответов на вопрос, сформулированный самим Богдановым в предисловии: какой язык любви вырабатывает советская эпоха? По мнению Богданова, применительно к советской культуре можно говорить о молчании как об особом языке интимности (любви). Разумеется, любовь «по-советски» характеризуется прежде всего доминированием социального над личным («любят» в первую очередь Родину, Ленина, Сталина, Москву, родной город и т.д.), и о такой идеологически правильной любви молчать нельзя. А *молчат* героини советских массовых песен о любви «частной», земной. В литературе оттепели репрезентация любви выявляет противоречие между приватным и социальным, она тяготеет к изображению любви как чувства, более или менее свободного от идеологии. Если ранее герой молчал от невыразимости полноты чувств по отношению к объекту своей любви, то теперь молчание героя указывает на его растерянность перед конфликтом приватного и социального (в эту эпоху «молчание как язык любви определяется в терминологии сомнения», с. 35). Заканчивает свою статью Богданов выводом о том, что слово «любовь» в текстах 1960-х гг. может быть охарактеризовано как «слово с нулевым денотатом», а в такой ситуации «остаётся либо молчать, либо задаваться риторическими вопросами» (С. 38). Эта статья Богданова написана в несколько ироническом ключе, хотя в целом, как и первая статья Мурашова и статья Борисовой, является «контекстостанавливающей»: в частности, одним из результатов статьи стала попытка определения объема понятия любовь в советском дискурсе и описания особого языка любви — характерно, что оба феномена оказываются знаками с нулевым компонентом. Очевидно, отчасти поэтому в следующей своей статье Богданов смещает исследовательский взгляд с «поиска» языка любви на изучение границ приватного (территории интимности) в советской культуре.

Статья Богданова о жанре советской колыбельной песни (1930–1950 гг.) представляет собой обширное литературоведческое исследование, построенное на анализе корпуса авторских колыбельных песен (библиография к статье включает несколько десятков поэтических сборников, газетных публи-

каций, альбомов и Интернет-источников с текстами колыбельных песен). Богданов рассматривает тексты колыбельных в широком социальном контексте сталинской эпохи (начиная с анализа литературных текстов, воспроизводящих основные советские идеологемы, и заканчивая рефлексологией Павлова с ее пафосом «создания нового человека»), пытается вычлени универсальные механизмы манипуляции сознанием аудитории, а также проследить воспроизводимость рассматриваемых механизмов в современной культурной ситуации. Фактически статья Богданова — это статья о власти (о способах подчинения государством членов общества, усыпления бдительности / мысли в тоталитарном государстве) и об изменении границ интимного: частная жизнь советского человека в 1930-е гг. неизменно проецируется на жизнь всего народа, соответственно, аудиторией колыбельной становится одновременно весь народ (границы приватного изменяются — отныне слово «семья» обозначает всех советских людей вместе). В таком контексте логичным оказывается появление образа неусыпного всевидящего отца (человека, никогда не спящего в Кремле), который охраняет и контролирует сон советских граждан. Колыбельная как жанр, не потерявший связь с традиционной фольклорной формой, обладает особой силой эмоционально-суггестивного воздействия, поэтому правомерно, считает Богданов, говорить о терапевтическом эффекте «коллективного самоубаюкивания» как одной из основных функций жанра советской колыбельной.

Еще одно исследование, посвященное анализу стратегий государственного контроля над интимным пространством человека, выполнено М. Шварцем (С. 170–187). Шварц проводит анализ восприятия обществом периода ранней оттепели подвига первых космонавтов, специфики отношения к подвигу и репрезентации этого отношения в средствах массовой информации. Важную роль в формировании «правильного» отношения к подвигу космонавтов сыграл официальный дискурс, ключевыми понятиями которого являлись образ большой советской семьи, вступающей в новую космическую эпоху человечества, пафос покорения Вселенной, описание корабля как микрокосма — модели идеально упорядоченного советского государства и мн. др. С другой стороны, влияние на «космический дискурс» эпохи оттепели оказывала популярная тогда научная фантастика, которая вносила свои существенные коррективы в идеальную картинку, создаваемую официальной идеологией. Особое интимное отношение советских читателей к первым космонавтам СССР сформировалось, по мнению Шварца, под влиянием антиутопических мотивов, характерных для рассказов о космонавтах этого времени (напр., моти-

вов сомнения в полезности научно-технического прогресса, космического одиночества космонавтов, идеи дистанционной управляемости человеческим телом и одновременной неспособности космонавта противостоять чувствам).

Статья С. Савицкого посвящена живописным и поэтическим опытам круга «арефьевцев» кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. и — шире — неофициальной культуре и поэзии Ленинграда конца сталинской эпохи и эпохи ранней оттепели. Савицкий подробно описывает опыты прогулок арефьевцев («болтайки») по историческому центру Ленинграда с целью получения нового «камерного» восприятия города, «улавливания» мимолетных впечатлений, мгновенных ускользающих деталей, которые смогут послужить основой для их живописных опытов (в духе импрессионизма). Савицкий подробно разбирает некоторые стихи поэта круга арефьевцев Роальда Мандельштама, посвященные городу или навеянные прогулками по району Коломны, сравнивает поэтические опыты Мандельштама с описанием городской повседневности в поэзии Бодлера. И хотя Савицкий завершает свою статью пассажем о бегстве из парадного центра города как бегстве от обобщественного Я советского человека в приватное пространство (пространство дружеских прогулок, личных переживаний города), интуитивно понятно, что статья не об этом. Савицкого интересуют художественные опыты и идеология первого неформального объединения ленинградских художников-нонконформистов несравненно больше, чем дихотомия публичного / интимного в советской культуре; содержательно статья Савицкого несколько выбивается из общей тематики сборника.

Две другие статьи также стоят особняком от остальных — но не в силу несоответствия их содержания тематике сборника, а вследствие специфики анализируемого материала. Первая статья — А. Архиповой (С. 188–207) — посвящена изучению одной из практик современного городского (подросткового) фольклора, а именно — распространенному с 60-х гг. XX в. обычаю школьниц (в возрасте 12–16 лет) заполнять друг другу анкеты с определенным набором вопросов. Архипова прослеживает генезис этого фольклорного жанра — от «Исповеди» Маркса, впервые опубликованной в СССР в 1956 г., через рецепцию и адаптацию вопросов-ответов «Исповеди» массовой советской литературой и кино, через внедрение практики ответов на вопросы (из «Исповеди» Маркса) в рамках школьных кружков или «Марксовских чтений» к появлению и стремительному распространению анкет среди школьников — анкет с модифицированным набором вопросов и без сохранения памяти о претексте. Интерес к «Исповеди» и — шире — лично-

сти, личной жизни Маркса вполне соответствовал духу оттепели и курсу на «очеловечивание» вождей: в это время образы вождей интимизируются, а тексты, описывающие их частную жизнь, «специализируются» по разным аудиториям, напр., Ленин рисуется либо как мальчик, либо как дедушка, соответственно, рассказы о нем предназначаются для дошкольников или учеников младшей школы; рассказы о Марксе, напротив, содержат преимущественно пересказ его отношений с женой или дочерьми, часто он предстает пылким юношей, соответственно, такие рассказы оказываются востребованы в девичьей аудитории, отсюда и особая популярность рукописных девичьих анкет, появившихся в СССР только в эпоху оттепели.

Статья С. Адоньевой (С. 208–223) посвящена психологическому и семиотическому истолкованию советской детской игры «в секретики». В игре чаще всего принимают участие дети от 5 до 7, 8 лет — то есть дети, находящиеся в возрасте «освоения границ собственного физического и социального тела» (С. 220). Если рассматривать игру «в секретики» в таком ключе, то очевидно, что основная (естественно, неосознанная) функция ее заключается в осознании ребенком *собственного* бытия во времени, в отчуждении от себя некой ценности и наблюдении за автономным *ее* бытием, ее изменением или разрушением (укрываемое место (собственно секретик) как локус желания — место, где тело ищет себе другое тело, с. 218–220). Игра «в секретики» связана с познанием ребенком ощущения тайны, закрытости, с апробацией механизма доверия (секретик можно показать только близкому другу). Кроме того, Адоньева считает это ритуализованное действие симптомом потребности ребенка в метафизическом (мистическом) опыте, отсутствующем в советских условиях «дефицита социального опыта» (С. 220). С семиотической точки зрения игра рассматривается как средство интимизации и культурного освоения ребенком коллективных и публичных символических практик (напр., гражданских похорон, «паломничества» к телу Ленина и т.п.).

Наконец, завершает сборник статья, посвященная исследованию границ интимного в драматургии Е. Гришковца (статья М. Липовецкого, Б. Боймерс, с. 234–267). *Фактически* целью данной работы является исследование эстетики театра и драматургического языка Гришковца инструментами психоанализа. Исследователи ищут психологическую (травматическую) основу творчества Гришковца и находят ее в биографическом опыте драматурга (при этом незаметно стираются границы между фигурой автора и персонажем его пьес). Тексты всех пьес Гришковца рассматриваются как способы преодоления

травмы, воссоздания ощущения экзистенциального Я (через переживание тактильных / эмоциональных воспоминаний в текстах пьес и на сцене). Особенностью театра Гришковца является, по мнению авторов, вынесение сюжета за рамки повествования: сюжетом становится сама жизнь, а театральное действие — комментарием к ней. В конце статьи авторы анализируют эволюцию творчества Гришковца, но в их анализе все больше ощущается «стилистика рецензии», характерная в целом для статьи (заметим в скобках, что три четверти списка используемой для исследования литературы — это рецензии и отзывы о спектаклях Гришковца или его интервью). Психоаналитическая парадигма заводит авторов в тупик: помимо прямой оценочности, похвал или критики в конце статьи становится очевидной поверхностность и «топорность» анализа текстов «биографическим» методом. При чем же тут советское? Из статьи это не до конца ясно. Упоминания советского опыта, впрочем, в статье есть: советское государство рассматривается как источник травмы героя (конкретно — советская армия), а потеря героем идентичности в результате крушения привычной системы ценностей сопоставляется с постсоветским состоянием общества. Упоминается и интимность. Даже больше: театр Гришковца называется «интимным» — в силу особой стилистики общения Гришковца со зрителями — конвенции «интимности», которая достигается за счет «искренности» исполнителя и за счет формирования в процессе спектакля коллективного «мы» (исполнитель — зрители). На уровне ключевых слов (*интимность / советское*) статья вполне вписана в тематику сборника, на концептуальном уровне она сильно отличается от всех прочих работ, более того, на наш взгляд, можно даже оспаривать ее уместность в сборнике.

Несколько общих слов необходимо также сказать об источниках и хронологических рамках исследований. В самом начале рецензии мы писали о том, что исследования, помещенные в сборник, охватывают широкий спектр явлений культурной жизни. Следует уточнить, какие именно тексты вводятся в научный оборот в проанализированных нами статьях. Помимо популярных кинофильмов (многие из которых в свое время были лидерами проката и до сих пор хорошо известны в России), литературных произведений, в основном массовых жанров (все же анализу советской литературы в статьях уделяется относительно мало внимания), текстов советских массовых песен (от колыбельных до любовной лирики) исследователи привлекают для анализа и архивные данные (напр., полевые записи — ст. Адоньевой, личные дневники и анкеты — ст. Архиповой), материалы газет и журналов, образцы живописи и новейшей драматургии.

Большинство работ посвящено изучению культуры оттепели (Борисова, Савицкий, Дашкова, Шварц, Архипова), несколько статей — культуре сталинской эпохи, 30-м гг. XX в. (Мурашов, Богданов), репрезентации советского в постсоветский период посвящено две статьи сборника (Лидерман, Липовецкий); в исследованиях культуры переходного периода (от сталинской эпохи к эпохе оттепели) особенно показательным становится сопоставление культурных парадигм этих двух эпох и анализ их эволюции (Богданов, Дашкова, Борисова).

Основным методом исследования (слово «основной» не вполне уместно при разговоре о статьях разных авторов; мы будем использовать его в значении «наиболее частотный») является *дискурсивный анализ текста* — литературного, кинематографического, пластического или живописного. На стыке антропологического подхода и дискурсивного анализа выполнены работы К. Богданова (С. 27–39; подход Богданова включает в том числе и лингвистическое исследование ряда слов и концептов, напр., анализ семантики и словоупотребления лексемы «любовь»), М. Шварца, А. Архиповой. Семиотический анализ ритуала проводит С. Адоньева в своей статье; основным методом исследования Ю. Мурашова (а также отчасти Липовецкого и Боймерс — в применении к драматургии Гришковца) является психоаналитический подход к визуальному тексту (кино, фотография).

Итак, основными задачами сборника были заявлены анализ способов репрезентации любви в советской культуре, анализ коммуникативной эффективности выработанных «языков любви», рассмотрение распределения сфер публичного и частного в советской культуре и некоторые другие. Три первые программные статьи (всех трех редакторов сборника) посвящены непосредственно репрезентации любви, вербализации любовного чувства, выработке и функционированию языка любви (или значимому его отсутствию), культурным конвенциям в изображении любовного чувства. Характерно, что в самих названиях программных статей последовательно фигурирует слово «любовь», которое далее в заголовках (даже у тех же авторов) не встречается (за исключением работы Лидерман, посвященной постсоветским фильмам). С изучения феномена любви и его репрезентаций в советской культуре фокус исследовательского внимания постепенно смещается на исследование границ (и взаимопроникновения) публичного (контролируемого государством, коллективного) пространства и интимной (индивидуальной, личной) территории человека (в некоторых работах неартикулированно появляется вопрос о принципиальной возможности / невозможности индивидуа-

лизации жизни человека в тоталитарном государстве). Основными тенденциями переходного периода (от сталинской эпохи к оттепели) видятся изменение границ между сферами интимного переживания и публичного поведения человека, формирование идеи об исключительности любовного чувства, исключение коллектива как педагогической и дисциплинирующей инстанции из приватного пространства личных переживаний человека, что отражается на способах репрезентации жизни, быта, эмоций конкретного человека в кино, литературе, дискурсе СМИ. Характерно, что, несмотря на междисциплинарность представленных исследований и неоднородность объектов анализа, авторы большинства статей приходят к сходным выводам. Особенно поначалу (первые 4–5 статей) сборник кажется симфонией, в которой голоса разных исследователей дополняют или слегка оттеняют друг друга (впрочем, отчасти это может объясняться тем, что некоторые конкретные анализируемые тексты совпадают, напр., пресловутые фильмы «Колыбельная» или «А если это любовь?»). Далее появляются статьи (вроде статей Адоньевой, Архиповой), которые, будучи написаны на ином материале, контрастируют с программными работами на содержательном, но не на концептуальном уровне. Безусловно, есть работы, выбивающиеся из общей тематики сборника (статьи Лидерман, Савицкого, Липовецкого и Боймерс), но в целом их присутствие в сборнике можно оправдать не логическим, а эмоциональным доводом — чтобы отчетливее уловить основные идеи сборника, необходимо отвлечься от них на сюжеты, даже по временным рамкам не совпадающие с заявленной темой.

Принимая во внимание все сказанное, можно было бы предположить, что более точным названием сборника могло бы быть нечто вроде «СССР. Границы приватного»; но на самом деле такое предположение излишне, так как представленное название вполне оправдано: большинство исследователей, чьи работы помещены в сборник, понимают «любовь» как *личное, интимное*, то *приватное*, чьи *границы* переопределялись на протяжении советской эпохи и оказывали непосредственное влияние на формирование образа советской любви.

### Библиография

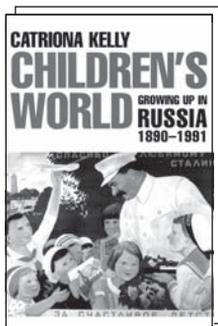
- История страны. История кино / Под ред. С.С. Секиринского. М.: Знак, 2004.
- Кинематограф оттепели / Ред. В. Трояновский. Кн. 1. М.: НИИК, Материк, 1996.
- Кинематограф оттепели / Ред. В. Трояновский. Кн. 2. М.: НИИК, Материк, 2002.

Кино: политика и люди (30-е годы): [Сборник] / Отв. ред. Л.Х. Мама-това ; Предисл. А. Адамовича]. М.: Материк, 1995.

Лидерман Ю. Мотивы «проверки» и «испытания» в постсоветской культуре: Советское прошлое в российском кинематографе 1990-х годов. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2005.

Советское богатство. Статьи о культуре, литературе и кино: к шестидесятилетию Ханса Гюнтера / Ред. М. Балина, Е. Добренко, Ю. Мурашов. СПб.: Академический проект, 2002.

*Ксения Гаврилова*



**Catriona Kelly.** *Children's World: Growing up in Russia, 1890–1991.* L.: Yale University Press, 2007. XXII+714 p.; ill.

Большинство из нас не может на самом деле думать о детях. Когда мы пытаемся делать это, то, в конце концов, начинаем думать о своем собственном детстве. <...> Именно этим и оказывается «детство» — нашими спутанными, тревожными воспоминаниями о наиболее важном времени нашей жизни.

[Somerville 1990: 288–289, 294].

История детства появилась на Западе поздно, еще позднее возникла она в России. Глубоко укоренившаяся среди историков тенденция фокусировать свое внимание на истории сверху (управление государством, дипломатия и гражданское общество), кажущееся отсутствие власти и самостоятельности в принятии решений у детей, а также нехватка и глубоко проблематичная природа «детских текстов»<sup>1</sup> приводили к пренебрежению ими или их стереотипным репрезентациям.

**Бен Эклоф (Ben Eklof)**  
Университет Индианы,  
Блумингтон, США  
eklof@indiana.edu

<sup>1</sup> Мемуары, конечно, являются «взрослыми», а не «детскими» текстами; в качестве источников о детстве они весьма уязвимы. О русском материале см.: [Wachtel 1990].

Конечно, занимаются историей семьи и литературными репрезентациями детей, а в биографических исследованиях можно найти сведения о детских годах тех или иных исторических персонажей. Тем не менее в целом, по утверждению И.С. Кона, эти работы оказывались «фрагментарными, несистематическими и теоретически слабо осмысленными» [Кон 1988: 39, цит. по: Сальникова 2007: 21]. А Россия плелась в хвосте поздно пробудившегося Запада. В самом деле, как с иронией пишет Алла Сальникова, в советской историографии сложилась забавная ситуация: «Российские “народные массы”, без упоминания которых не обходилось ни одно историческое исследование, выполненное в рамках марксистско-ленинской исторической парадигмы, оказывались “массаами” без детей, кроме, может быть, нескольких хрестоматийных фигур, которые кочевали из одного учебника в другой, из одного детского периодического издания в другое. Это были “дети-образцы”, дети-герои советских мифов» [Сальникова 2007: 23]<sup>1</sup>. Этнография и фольклористика значительно глубже погружались в изучение детского опыта, однако в значительной степени в отрыве от других дисциплин. Красноречивым является тот факт, что знаменитая книга Филиппа Арьеса, впервые опубликованная во Франции в 1960 г., была переведена на русский только в 1999.

И, тем не менее, как пишет Катриона Келли в «Детском мире», «советское государство сделало нужды детей центральным моментом своей политической легитимации» (Р. 1). Под неослабевающий барабанный бой советской пропаганды дети были провозглашены единственным привилегированным классом в Советском Союзе, детство — счастливейшим временем жизни, а советское государство (и сам Сталин!) — основной причиной детского счастья.

Колоссальная работа Катрионы Келли, охватывающая широкий круг тем, некоторым из которых посвящены самостоятельные миниисследования, несомненно представляет собой важную веху в изучении русской истории. Одной из наиболее сильных сторон книги, что может быть не столь очевидно российскому читателю, является ее дескриптивная насыщенность. Приводимые детали, иногда обогащенные иллюстрациями, по таким темам, как рождение, раннее детство, детские игры, детский театр и читательские предпочтения, превращают книгу в насыщенное, почти энциклопедическое чтение, по большей части совершенно новое для западных людей и особенно для тех, кто не владеет трудным русским языком. Описания пе-

---

<sup>1</sup> Эта работа является обязательным чтением для каждого, кто занимается историографией детства, а в особенности методологическими проблемами, касающимися «детских текстов» и попыток сделать их центральным материалом для истории детства.

ремежаются анализом и интерпретациями. Естественно, что некоторые из выводов Келли будут поставлены под сомнение. А как может быть иначе с таким амбициозным проектом? Однако подобные сомнения следует рассматривать как неотъемлемую часть нормально и динамично развивающегося научного знания: накопленные при исследовании частных вопросов наблюдения и материалы ведут к смелым обобщающим исследованиям, те, в свою очередь, подвергаются проверке за счет новых конкретных материалов, а это приводит к новым попыткам синтеза. Следует отметить, что в своей книге Келли попыталась проникнуть во многие уголки детства и осуществить их эмпирическое исследование, а затем вписать свои находки в глобальную картину российского детского мира.

Многие из собранных ею свидетельств, несомненно, встретят возражения со стороны русского читателя, который рос, играл, читал, ходил в школу, жил в советской семье, отдыхал в пионерских лагерях<sup>1</sup>. Как отмечает исследовательница, «детский опыт формирует часть неуловимой невидимой сети допущений и общих знаний, понятных для взрослых ровесников». Как частый посетитель России, могу также подтвердить ее ироническое наблюдение о том, что «образованный человек, говорящий на языке, который не является его родным, скорее испытывает трудности, общаясь с трехлетним ребенком, чем слушая доклад на конференции» (Р. 4). Короче говоря, обращение к детству в чужой культуре, напрямую или через научные исследования, является сложной задачей.

Однако для исследователя-чужака, который не рос в окружении артефактов и символов русской культуры и быта, владение Келли русскими источниками, включая литературу, кино и даже мультики, представляется просто удивительным. Даже простые описания большинства этих вещей будут новыми для западного читателя. Исследовательница стремится сообщить нечто новое и российскому читателю, используя прием «остранения», хорошо известный этнографам. Келли полагает, что внешний наблюдатель точнее и успешнее заметит особенности взросления в данной культуре (Р. 6) и обратит внимание на то, что «для современной русской культуры особенно трудно верно увидеть детскую культуру “изнутри”». По всей видимости, в данном случае она имеет в виду поляризацию памяти в эпоху перестройки, когда историческая память, «миф о счастливом детстве» (см. далее), а также идеологическая индоктринация в школах стали темами, вызывающими горячие споры.

<sup>1</sup> Цитировавшийся в начале рецензии Сомервилл продолжает: «Страстность наших мнений скрывает нашу растерянность» [Somerville 1990: 294].

Келли стремится к максимальному охвату проблемы на тематическом уровне. Она также признает, что представители разных слоев русского (и отчасти татарского и еврейского) населения обладали разным жизненным опытом. Для нее «детский опыт <...> является нарративом бесконечных вариаций, различий в соответствии с принадлежностью к определенному поколению, а также социальному статусу, гендеру и возрасту» (Р. 570). Кроме того, на протяжении всей книги она подчеркивает разрыв между городом и деревней в том, что касается социальных и культурных нравов, а также доступа к материальным благам. За тематическим размахом вкупе с замечательной решимостью показать, что означало детство для разных групп населения, видно стремление связать множественные репрезентации детства с живым опытом. Это «большой заказ», и, чтобы сделать его еще масштабнее, Келли исследует весь двадцатый век, от дореволюционных лет до распада Советского Союза в 1991 г., уделяя особое внимание сталинскому и постсталинскому периодам. Она добавляет, что *опыт детства менялся от десятилетия к десятилетию*, и, акцентируя «возможность выделения некоторых лежащих в его основе общих закономерностей», стремится воздать должное всему этому сложному переплетению. Это оправдывает огромный объем и сложную организацию книги, а кроме того, порождает громоздкую структуру, заставляющую добросовестного читателя периодически возвращаться к уже прочитанному, время от времени обращаясь за помощью к указателю. К счастью, Келли хорошо пишет, что облегчает ознакомление с этим сложным сюжетом.

Из-за масштабности и широты «Детского мира» любой рецензент почувствует искушение не увидеть за отдельными деревьями всего великолепного леса. «Детский мир» поделен на три части, каждая из которых вполне могла бы составить небольшую монографию. Часть первая, примерно одна пятая от 598 страниц текста, посвящена анализу истории репрезентаций детства в законодательстве, журналистике, педагогической психологии, искусстве и пропаганде. Вторая часть (также около одной пятой) «Street Waifs: Orphanages and Inmates» представляет собой трогательное описание покинутых, заброшенных, оставшихся сиротами и «девиантных» детей (включая «членов семей предателей родины»), а также соцобеспечения этих детей, оказавшихся в трудном положении. Келли приняла мудрое редакторское решение, превратив данный раздел в сердцевину книги, поскольку травматическая история Советского Союза загнала многие миллионы детей в эти категории и оказала глубокое воздействие на все советское детство в целом. Келли рассматривает эту тему сострадательно и аналитично;

она пишет о детских страданиях и том небрежении, которые испытывали подобные дети, а также об отсутствии заботы о них со стороны большинства взрослых, работавших в приютах. Она жестко критически описывает, как в эпоху Сталина дети репрессированных родителей сами попадали в тюрьмы и лагеря. И в то же время она соглашается с Аланом Беллом (Ball), писавшим о том, что в отношении бепризорников — если отстаивать в стороне вопиющий случай юных жертв Сталина и если не обращать внимания на лишения раннесоветской эпохи — усилия государства по оказанию помощи нуждающимся детям вполне сопоставимы со сходными попытками, предпринимавшимися за пределами России в XX столетии. Часть третья, занимающая приблизительно половину книги, посвящена яслям, детским садам, школам, а также играм, детским увлечениям, кино, театру и телевидению. Раздел, отведенный школьному образованию, состоит из 75 страниц мелкого шрифта и является наиболее значительным.

Занимаясь школами, Келли касается школьной программы и ее содержания, однако в большей степени ее интересуют отношения, возникающие в классе (включая взаимоотношения между учителями и учениками, а также между сверстниками), имплицитный конфликт между семейными нравами среднего класса и подчиненным жестким правилам школьным миром постсталинского периода<sup>1</sup>. Как пишет исследовательница, «принимая точку зрения детей на школу, данная глава» посвящена не столько «институциональному контексту опыта, приобретаемого в классе» (Р. 495), сколько ритуалам и церемониям, которые, по-видимому, лишали ребенка индивидуальной идентичности (Р. 509–510), но при этом наделяли его новой идентичностью ученика и «ощущением корпоративной солидарности». Действительно, книга в целом отдает приоритет дискурсу и живому опыту, а не институциям. У такой стратегии есть свои недостатки, когда дело касается школ, поскольку отсутствие у исследовательницы интереса к содержанию и методике оставляет в стороне вопрос об эффективности обучения<sup>2</sup>, а ее вывод о том, что «базовой формулой [русской школы] оставались основные навыки плюс патриотическое воспитание вкпе с “образованием в области искусств” и физической

<sup>1</sup> Эта тема, центральная для ее построений, подробно обсуждается в дискуссии, опубликованной в «Антропологическом форуме» (2006. № 4); отсылаю заинтересованного читателя к этой дискуссии.

<sup>2</sup> См. мои замечания по этой проблеме в четвертом номере «Антропологического форума». Делая особый акцент на чувствах и переживаниях детей по поводу школьной жизни, Келли превращает вопрос о том, чему их на самом деле учили, во второстепенный. Тем не менее эта проблема является одной из наиболее актуальных тем, касающихся советской и постсоветской школьных систем в России.

культурой» (Р. 531), является ничем не подкрепленным. Если рассуждать исключительно с точки зрения человеческого капитала, как могло случиться, что образовательная система, инвестирувавшая в учащегося в половину меньше, чем большинство западных школьных систем, достигала, тем не менее, сравнимых или даже более высоких результатов? Идеологема советского народа как «самого читающего в мире» была, по всей видимости, назойливым преувеличением, поскольку исследования чтения в 1970-х гг. показывали, что основная масса населения не читала ничего или читала исключительно для развлечения. Тем не менее для человека, часто бывавшего в Советском Союзе, было очевидно, что доля населения, вовлеченного в «высокую культуру», «серьезное чтение» или науку, была здесь безусловно выше, чем, например, в Соединенных Штатах. Короче говоря, *было что-то абсолютно правильное* в том, что касалось школьной программы, и об этом стоит говорить подробнее<sup>1</sup>. Однако если быть справедливым, Келли все же поставила своей задачей изучение детства, а не школьного воспитания как такового.

Келли определяет свой подход как «этнографическую историю», которая особенно уместна в отношении большого проекта по интервьюированию советских граждан, выросших при Брежнев; Келли была руководителем этого проекта, а его материалы составили ядро раздела, посвященного постсталинской школе и вызвавшего довольно горячие отклики на страницах «Антропологического форума». Действительно, во всех этих интервью исследовательница стремится учесть внутреннюю, «субъективную» точку зрения, используя при этом такой инструмент этнографа, как «остранение»<sup>2</sup>. Другие источники, привлеченные Келли, многочисленны и разнообразны, как по своему происхождению, так и по типу использования<sup>3</sup>. Мы на-

---

<sup>1</sup> Британские специалисты написали две очень хороших книги о советской школе: [Dunstan 1978; Muckle 1990]. Другим пронизательным наблюдателем советской школьной системы стала американская журналистка Сюзан Джейкоби [Jacoby 1974]. Немецкие ученые всегда обращали гораздо больше внимания на советские школы, чем их англоязычные коллеги.

<sup>2</sup> Судя по некоторым российским откликам на статью Келли «Школьный вальс», напечатанном в «Антропологическом форуме», некоторые из ее читателей поняли это не как «остранение», а скорее как «колонизальный взгляд (colonial gaze)». См. довольно жесткие комментарии Александра Белюсова (№ 4. 2006. С. 24–25). Келли не воспользовалась и материалами двух других больших проектов, связанных с интервьюированием, благодаря которым была собрана ценная информация о детстве и школьной системе. Речь идет о Гарвардском проекте, в рамках которого было опрошено около двух тысяч человек, покинувших Советский Союз главным образом между 1943 и 1946 гг.; а также Советском проекте, посвященном по большей части евреям-эмигрантам брежневской эпохи: [Inkeles, Bauer 1959; Millar 1987]. Интервью, собранные в рамках Гарвардского проекта, теперь доступны в онлайн-режиме: <<http://hcl.harvard.edu/collections/hpsss/about>>.

<sup>3</sup> Из-за гигантских размеров книги (714 страниц мелкого шрифта, около 250 тысяч слов), полные биографические сведения были перенесены на веб-сайт <[www.yalebooks.com](http://www.yalebooks.com)>. Автор также сделала доступными для пользователей Интернета полные версии текстов, собранных в рамках ее проекта интервьюирования, снабдив их научным аппаратом.

ходим отсылки к законодательству и инструкциям, руководствам для родителей и преподавателей, в большом количестве — к детской литературе и описаниям детей в литературе для взрослых; кино, театру, мемуарам, рисункам, живописи и фотографиям (в книге представлено свыше ста прекрасно отобранных иллюстраций, взятых из архивов, библиотек, журналов и даже городских путеводителей; список сокращений для источников занимает пять страниц мелкого шрифта) и, конечно, к богатому набору вторичных источников. К сожалению, исследовательница воспользовалась лишь малой долей того большого собрания обследований и опросов, проводившихся до 1917 г. и в первое советское десятилетие, которое было очень удачно представлено в виде списка в приложении к недавно вышедшей серьезной монографии Е.М. Балашова «Школа в российском обществе, 1917–1927 гг.» [Балашов 2003]<sup>1</sup>. Балашов сам широко, но некритически пользуется этими исследованиями. Келли также не рассматривает полномасштабно методологические проблемы, связанные с этими текстами, являющимися детскими авторрепрезентациями, которые она использует в данном томе. Критика Сальниковой недавних западных исторических работ о русском детстве применима и к Келли: «Естественно было бы предположить, что основу такого рода исследований должны составить источники, исходящие от самих детей. Однако в современных зарубежных работах по истории советского детства, “детские” источники занимают значительно меньшее место нежели чем источники “взрослого” авторства» [Сальникова 2007: 61]<sup>2</sup>.

Однако если отложить в сторону собственное недоверие и методологические вопросы (особенно касательно «синдрома ложной памяти», когда дело доходит до мемуаров), Келли, как кажется, временами близко подходит к «живому опыту». Как пишет Ларри Холмс:

*Когда позволяют источники, Келли точно ухватывает этот опыт неожиданным и чудесным образом. Так получается, когда она говорит о детских играх на улице и дома; о страхе проверок в дореволюционный период; и о чувстве беззащитности, порожденном медосмотрами. Глава о детских домах начинается неспешно с важной институциональной истории и затем оживляется благодаря детским воспоминаниям о том, как они переносили, часто не жалуясь, ужасные условия. Раздел о военных*

<sup>1</sup> См. мою большую рецензию на эту книгу: [Eklof 2006]. См. также оценку этой работы у Сальниковой: [Сальникова 2007: 42–44].

<sup>2</sup> В целом ее оценка исследований Келли является позитивной, а ее комментарии [Сальникова 2007: 59–61] касаются статей, предшествовавших появлению «Детского мира».

*сиротах (Р. 242–257) оживает благодаря свидетельствам детей<sup>1</sup>.*

В этой богатой книге со множеством «сюжетных линий» связующими нитями оказываются многочисленные парадоксальные утверждения о русском детстве, а также авторские усилия продемонстрировать читателю то, *что отличало* русское детство, и одновременно *нормализовать эту историю в рамках глобального контекста*. Действительно, многое будет знакомо западному исследователю детства и образования (Р. 20), включая медицинские практики, связанные с родами, институционализацию заботы о детях, рационализацию воспитания, возникновение семьи, центром которой является ребенок, трансформацию материальных условий детства, а также то, что происходит в России позднее, чем на Западе, а именно — обращение к детям и подросткам как к потребителям — в целом то, что исследовательница называет «преувеличенными ожиданиями детства» (Р. 392). Даже такие темы, как уровень разводов, романтическая любовь и сексуальные отношения (Р. 587), измеряются интернациональными мерками.

Описание негативных сторон советского опыта также является предметом контекстуализации в книге Келли. Характеризуя формализованный и централизованный характер советской школьной системы, а также внутреннее убранство зданий, «скудно функциональное до унылости», а также «отчуждающую физическую фактуру школы» (Р. 505, 507), она добавляет: «Опять же следует учитывать исторический контекст: в британских и континентальных европейских классах многие ученики данной эпохи получали весьма сходное образование» (Р. 539). Кроме того, Келли верно отмечает «трагический разрыв» между стремлениями и реальностью в советской системе соцобеспечения детей, указывает на индифферентное, часто небрежное отношение к сиротам и брошенным детям и, не смягчая красок, описывает печальную судьбу тысяч, если не миллионов детей, родители которых были репрессированы Сталиным (обо всем этом говорят фотографии на с. 235). Однако даже жесткая регламентация и идеологическая индоктринация детских домов и колоний, а также «ужасная нищета воспитанников институций, которые смехотворно именовались “домами”», вместе со все возрастающим стремлением государственных институций регулировать детство» находят свои параллели в Западной Европе и Америке XX в. (Р. 2, 598).

Подчеркивая точки сходства, возникающие в процессе «модернизации», Келли присоединяется ко многим другим запад-

---

<sup>1</sup> Письмо Ларри Холмса автору, 2008 г.

ным исследователям, которые утверждают, что советский опыт (особенно постсталинский период) являлся разновидностью «модерности», а не был чем-то *sui generis*<sup>1</sup>. Для некоторых, таких как С. Коткин, даже сталинизм должен быть включен в эту категорию [Kotkin 1997]. Показательно, что Келли настойчиво избегает термина «тоталитаризм»; как было продемонстрировано, этот термин, все еще имеющий широкое хождение, был создан американскими учеными во время холодной войны с отчетливо идеологическими, а не аналитическими целями: концепт тоталитаризма скрывает больше, чем открывает<sup>2</sup>. Что касается детства, между российским и иностранным опытом существует сходство, а кроме того, «на протяжении большей части XX в. организация в России таких областей, как медицинское обслуживание и детский досуг, была (в своих лучших проявлениях) столь же хорошей, или даже лучшей, чем в гораздо более богатых странах, таких как Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты» (Р. 8).

Тем не менее данная работа посвящена в том числе исторической специфике русского детства. Отставив в сторону (в забавном пассаже) то, что она называет отличительными чертами, которые сразу же поразят западного наблюдателя (очень тугое пеленание, стремление с очень раннего возраста приучить ребенка ходить в туалет, катание на коньках, собирание грибов и ягод), Келли отмечает, что «понимание детства и детский опыт менялись от десятилетия к десятилетию» иногда отчетливо непохожим на западный образом (Р. 11), причем особенность этого пути иногда объясняется историческим и культурным прошлым, но чаще политикой и политическими событиями<sup>3</sup>. Келли излагает этот сюжет, состоящий из уникальных и трагических событий, специально останавливаясь на шрамах, оставленных революцией, Гражданской и Второй мировой войнами, а также подробно рассказывая о «катаклизме» коллективизации и сталинизма в целом<sup>4</sup>. Автор подчеркивает исключитель-

<sup>1</sup> Быть может, лучшей недавней работой, посвященной тому, как обращаться с такими концептами, как «модерность» и модернизация в глобальном контексте, является: [Bauly 2004]. Более радикальная точка зрения, описывающая даже нацистский опыт в рамках концепта «модерности», представлена итальянским исследователем Энзо Траверсо [Traverso 2003]. Траверсо отвергает парадигмы «исключительности» и «тоталитарности», утверждая, что нацистский эксперимент был прямым результатом «модерности».

<sup>2</sup> См.: [Novick 1988].

<sup>3</sup> В интригующем пассаже Келли пишет, что изменения в восприятии детства, происходившие между 1890 и 1917 гг., были, по всей вероятности, масштабнее тех, которые происходили в советскую эпоху.

<sup>4</sup> Балашов относит начало «травматизации» российского детства и катаклизмов, нанесших глубокие раны молодежи, к революции 1905 г. Сведения, которые он приводит, дают детальное и живое представление о школьниках, а также «уличной» жизни; читателям Келли стоит обратиться к этой книге.

ную силу семейных связей (особенно вертикальных, но отнюдь не горизонтальных связей между детьми одних родителей); роль семьи как убежища от опасной и полной стрессов общественной жизни; она указывает на особый феномен «серийного производства единственных детей» (большой временной разрыв между детьми в брежневскую эпоху, приводивший к появлению нескольких «единственных» детей), а также «де-институционализацию» заботы о маленьких детях в позднесоветскую эру, когда родители, принадлежавшие к среднему классу, не отдавали своих детей в ясли и даже в детские сады. Она пишет о том, что «в постсталинскую эпоху мощный разрыв между школьным воспитанием и этосом “ребенок прежде всего” сошелся с утратой идеологического импульса <...> что породило в конце концов весьма циничное отношение к ценностям, провозглашавшимся в классе» (Р. 568)<sup>1</sup>.

Однако самые большие различия вносит опять-таки катаклизм, порожденный людьми, который стал причиной «роста беспризорности в масштабах, не имеющих, по-видимому, аналогов в истории». И хотя попытки советской власти справиться с этим явлением были подчас героическими и сопоставимыми с аналогичными попытками в международном масштабе, уровень беспризорности в России — явления, существующего и сегодня, после распада Советского Союза, — оставил отчетливый отпечаток на опыте детства в стране<sup>2</sup>. Может быть, это и неочевидно русскоязычному читателю, однако Келли очень аккуратно воздерживается от интерпретационных крайностей, которые нередко встречаются в англо-американских трактовках советского воспитания и образования, и выстраивает баланс между тем, что является специфическим, и тем, что является универсальным в детском опыте в России XX в.

Если одной из центральных тем книги является нормализация, то другой — парадоксы. К этим парадоксам советского опыта, возникающим в разные периоды времени, относятся противоречие между верой в автономию детства и интервенционистским государством; между педагогикой, стремящейся пробудить инициативу и критическое мышление, и партийным государством, принуждающим к конформизму и повиновению; между образованием, провозглашающим равенство всех профессий, и системой, в постсталинскую эпоху предполагавшей наследственные привилегии.

---

<sup>1</sup> Это негативное явление относилось и к «авторитарному» стилю преподавания, который, согласно Келли, нередко порождал «травму» у детей, впервые попавших в школу. Это утверждение вызвало жаркую дискуссию на страницах «Форума», поэтому я не буду его здесь обсуждать.

<sup>2</sup> См. ценное исследование постсоветского детства, семейной жизни и соцобеспечения: [UNICEF 2001].

Однако ни один из этих парадоксов не является более важным для данной работы, чем те, которые содержатся в «мифе о счастливом детстве». Глубокую значимость этого мифа можно легко понять, если мы признаем, что широкое приятие советского режима обладало тремя мотивационными основаниями — *верой, страхом и социальной мобильностью*. И вера, и возможность «выдвинуться» были нацелены на будущее: мы примиримся с лишениями и несправедливостями настоящего времени, поскольку мы, но прежде всего наши дети будут жить лучше. Отсюда и риторический жест: *дети — единственный привилегированный класс в Советском Союзе*.

Делая любопытный поворот, автор полагает также, что сама распространенность этого мифа и его центральный характер могли сделать счастливее многих взрослых, даруя им утешение в трудные времена. Она пишет:

*Цинизм относительно мифа о «счастливом детстве» иногда кажется напрашивающимся, особенно учитывая, что те, кто превозносил детское счастье, порой оказывались теми, кто больше всего сделал для того, чтобы обеспечить несчастье взрослых <...> И тем не менее, насмешки могут помешать адекватному пониманию. Если принять гипотезу Нэнси Рис о том, что одной из разновидностей несчастья среди взрослых россиян в 1980-х гг. являлась тенденция все время говорить о несчастье (что на самом деле способствует его увековечению) <...> то рассуждая расширительно, можно отказаться от понимания идеи «сказочного детства» как неизменно связанного с ложным сознанием <...> и рассматривать его в качестве возможного источника силы и способности к выживанию у взрослых, находящихся в ситуации полнейшей нищеты, которую у них не было возможности изменить (Р. 423)<sup>1</sup>.*

Келли даже говорит о том, что «дискурсивная реальность» «мифа о детстве» на самом деле могла сделать *как детей, так и взрослых* счастливее: «отсюда следует, что если ты думаешь, что должен быть счастлив в детстве, то это иногда способствует тому, что ты на самом деле достигаешь счастья» (Р. 423).

Это, однако, возвращает нас к основной проблеме «детских текстов», памяти и источников. Хотя автор и утверждает, что это «история повседневной жизни, пережитой детьми» (Р. 13), а также несмотря на ее героические попытки посмотреть на мир «глазами детей», в результате мы все-таки смотрим на дет-

<sup>1</sup> Келли ссылается на влиятельную работу «Russian Talk» (Ithaca; New York, 1997), посвященную анализу того, как эссенциалистские (и негативные по сути) взгляды, распространенные среди московской интеллигенции, способствовали возникновению той реальности, которую они обсуждали. В частности, троп русского страдания и несчастья способствовал возникновению этих чувств.

ство главным образом через призму памяти или предписаний и описаний взрослых. Быть может, это, в конце концов, и неизбежно, однако работа Сальниковой *методологически* отводит детским текстам центральное место.

И тем не менее, «Детский мир» является исследованием большой эрудиции, сочувствия, масштаба и понимания, независимо от того, достигнут ли в конечном итоге баланс между дискурсом и опытом. Описывая «дворовые культуры», неблагополучные семьи, нелегкую ношу «социального приюта», которую вынуждена была принять на себя школа часто за счет собственно учебы, и прежде всего то презрение, с которым обходились с детьми «врагов народа», Келли развенчивает легенду «о советском детстве как о стабильном, неизменном и совершенно национально специфическом заказе». Равным образом, благодаря самому подходу, историзирующему разговор об эмансипации, защите и дисциплинировании детей, описывая движение от «ребенка-активиста» к «беззащитному ребенку» и потенциально злому ребенку, а затем (во время Второй мировой войны и далее) к вновь начавшимся дискуссиям о ранности, а также об автономии детства; деконструируя напряжение, воплощенное в понятии «старательные девочки», восходящем к сталинским временам, а также детально анализируя конфликты между семьей и государством, семьей и школой, Келли показывает, что существующее представление о советском детстве является идеологическим конструктом.

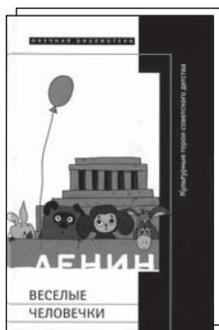
### Библиография

- Балашов Е.М.* Школа в российском обществе, 1917–1927 гг.: Становление нового человека. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
- Кон И.С.* Ребенок и общество (Историко-этнографическая перспектива). М.: Наука, 1988.
- Сальникова А.А.* Российское детство в XX веке: история, теория и практика исследования. Казань: Казанский государственный университет, 2007.
- Bayly Ch.A.* The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Oxford: WileyBlackwell, 2004.
- Dunstan J.* Paths to Excellence and the Soviet School. Windsor: NFER Publishing Co., 1978.
- Eklof B.* New Work and Perspectives on the Social History of Soviet Education: A review of volumes by Krasovitskaia and Balashov // History of Education. July 2006. Vol. 35. Issue 4 (Special Issue: Making Education Soviet). P. 589–600.
- Inkeles A., Bauer R.A.* The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959.

- Jacoby S.* Inside Soviet Schools. N.Y.: Hill and Wang, 1974.
- Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1997.
- Millar J.A.* Politics, Work and Daily Life in the USSR: A Survey of Former Soviet Citizens. N.Y.: Cambridge University Press, 1987.
- Muckle J.* Portrait of a Soviet School under Glasnost. N.Y.: St. Martin's Press, 1990.
- Novick P.* That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Somerville C.J. The Rise and Fall of Childhood. New York: Vintage, 1990.
- Traverso E.* The Origins of Nazi Violence. N.Y.: The New Press, 2003.
- UNICEF. A Decade of Transition. Regional Monitoring Report, no. 8. Florence: UNICEF, Innocenti Research Centre, 2001.
- Wachtel A.B.* The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford: Stanford University Press, 1990.

Бен Эклоф

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума



Кукулин И., Липовецкий М., Майофис М. (ред.). *Веселые человечки: культурные герои советского детства*. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 536 с.

Дэвид МакФадьен (David MacFadyen)  
 Университет Калифорнии,  
 Лос-Анджелес, США  
 dmacfady@humnet.ucla.edu

Пока пишется эта рецензия, начинается летний сезон и для американского кинорынка. С концом учебного года дистрибьюторы внимательно наблюдают за первыми несколькими художественными фильмами с большим бюджетом, особенно когда одновременно выпускаются фильмы соперничающих жанров. Первые кассовые сборы покажут, например, склонна ли аудитория в целом смеяться, плакать или приходиться в ярость.

Первая подобная схватка лицом к лицу состоялась на этой неделе между «Terminator Salvation», выпущенным компанией «Warner Brothers», и «Night at the Museum: Battle for the Smithsonian» кинокompании «Fox». Обе картины являются продолжениями существующих сюжетных линий: фильм «Warner Brothers» является четвертым фильмом в кажущемся бесконечным рядом, тогда как «Fox» использует успех комедии, вышедшей под тем же названием в прошлом году. И насилие с выбросом адреналина, и развлечение для всей семьи ориентированы на те же самые пустые карманы в общенациональном масштабе, в то время как наблюдатели киноиндустрии, затаив дыхание, пытаются понять, что является разумным вложением денег.

Дело не только в прошедших шести годах со времени третьего «Терминатора», но и в том, что атмосфера нынешнего экономического кризиса не сулит ничего хорошего киноэкшену: повествования о способности управлять своей судьбой будут звучать неубедительно там, где миллионы семей — даже работая вместе — не могут выступать субъектами своего благополучия. Люди нуждаются в утешении. В результате «Night at the Museum» оказался очевидным победителем по деньгам, полученным кинотеатрами за эту неделю, принесся 70 миллионов долларов за первый уикенд. Общее предпочтение невинности насилию кажется предзнаменованием не только того, какие фильмы окажутся блокбастерами этого лета (вроде «Up» компании «Pixar»), но и того, какие фильмы будут востребованы в обозримом будущем: люди хотят давно знакомых, часто сериализованных историй, дающих утешение.

Классические сериалы, будь то производства бразильского телевидения или книжного рынка XIX в., оставляют большие зазоры между сегментами сюжета и потому делают более значимой роль аудитории в совместном смыслообразовании. Сериализация превращает линейное разворачивание повествования в удачную форму социального сцепления. Разворачивающаяся в течение длительного периода времени, прерываемая сюжетная линия может начать двигаться в сторону мыльной оперы — где желание всегда остается неудовлетворенным и никогда ничего не кончается. Сериалы, однако, заканчиваются (в конце концов), и, следовательно, их конструкция располагается между связностью и диффузностью, между удовлетворением желания и более бесцельным желанием как процессом, чистым и простым. В ситуации нынешнего экономического кризиса это и есть место счастья.

Итак, по причинам, не связанным с популярностью английских волшебников в очках, несколько американских студий

в настоящее время хотят воссоздать на экране ряд популярных сериальных повествований, принадлежащих золотому веку детской литературы. Наиболее значительной в глазах публики является сделанная Стивеном Спилбергом скоро выходящая в прокат адаптация «Тинтена» Эрже, особенно «Тайна Единорога», которая была опубликована впервые в рыночно неблагоприятном 1943 г. Из других текстов, с которыми в настоящее время продлевается та же операция, назовем три: «Yogi Bear», «The Lone Ranger» и «The Hobbit». Вскоре мы увидим и последний фильм о Гарри Поттере, поэтому потребуется другая форма утешительного повествования, особенно для семей Детройта.

Это подводит нас к замечательному сборнику статей, вышедшему недавно в «Новом литературном обозрении» и посвященном целому ряду советских (и постсоветских) героев миллионов детей — героев, существовавших в 11 часовых поясах и таком же количестве десятилетий, если считать литературные прецеденты. Заглавие книги восходит к названию восьми фигурок, блиставших на протяжении тридцати лет сначала в журнале постсталинской эпохи «Веселые картинки», а затем в серии мультфильмов, которые продолжали друг друга. Данные временные рамки подсказывают, что эти восемь маленьких граждан сами были свидетелями колоссальных социальных сдвигов.

В новом томе, выпущенном «НЛО», эти самые «человечки» и куча других персонажей оказались вместе благодаря статьям, написанным по материалам конференции 2007 г. Вследствие этого результатом стал случайный набор ряда сюжетов, выхваченных из истории разных искусств и моментов российской истории. Тем не менее редакторы тома поясняют, как можно объединить между собой шестнадцать отдельных работ сборника. Они отмечают, что всех этих «человечков» можно уподобить друг другу, поскольку они функционируют «в качестве иероглифов определенных социопсихологических состояний, которые сохраняют свою значимость на протяжении всей жизни бывшего ребенка — и потому из книжек или мультиков переходят в игры, названия фирм, продуктов, рекламу, и т.д.» (С. 5–6). Эти меняющиеся контексты привносят (или в некоторых случаях лишь пытаются привнести) новые смыслы и благодаря этому обладают таким долголетием.

Составители отмечают, что другой константой, объединяющей многочисленные предметы исследования, затронутые в сборнике, является тот факт, что герои этих книжек с картинками, мультиков и пр. подаются «всегда эмоционально и никогда дидактически» (С. 6) в соответствии со своим семантическим по-

тенциалом. Изучение истории их бытования на протяжении длительного периода времени показывает, что эти искренние и полные смысла персонажи во всех своих меняющихся формах «резонируют невидимые, неидеологические перемены — среды, психологии, одним словом, габитуса» (С. 7).

Редакторы тома имеют в виду, что коммерческие или социальные перемены диктуют формы, которые принимают герои детских повествований; иными словами, составители хотят сказать, что эти же самые герои являются — и остаются — главным образом отражениями внешних ситуаций. Подобная логика представляется весьма обоснованной для постсоветской эпохи, однако что касается большинства персонажей, выставленных на всеобщее обозрение в «Веселых человечках», более уместными были бы иные основания. Конечно, *отсутствие* социальных изменений увеличивало значимость анимации вкпе с соответствующими сюжетами, представленными в статичных искусствах (таких как книжки или более величественные произведения изобразительного искусства, выставленные в общественных местах). Благодаря сюжетам о дружбе, верности и волшебных превращениях эти произведения обгоняли предписания власти, перевыполняя за считанные минуты пятачку по «превращениям».

Следует также помнить, что детская культура, избегая жестокости, если не сказать мрачности модернизма взрослого мира, отнюдь не была «регрессивной» в смысле детского эскапизма. Советские мультфильмы, например, предлагали всей — мультигенерационной и мультикультурной — советской аудитории взгляд на мир, который был актуален как в рамках социализма, каким мы его знаем, так и за его пределами. Они говорили о множестве магических преображений, слияний или, скажем, метаморфоз, к которым стремился социализм (вспомним, например, о переменах, которые должны были привести к более «социальному» стилю жизни), однако представляли их волшебными, рискованными и важными для частной жизни. Тот тип бытия, который они описывали и рекламировали, заставляет признать, что советские мультфильмы, комиксы и книжки не были ни пропагандой, ни подрывом левой догматики.

Именно здесь мы можем увидеть вероятную движущую силу сборника в целом: очертить культурную сферу, сотканную из метаморфоз, о которых политики мечтают (вслух!), но которые, тем не менее, не осмеливаются воплотить в жизнь. Элегантная статья Сергея Ушакина, открывающая сборник, выступает в качестве продолжения маленького предисловия редакторов и поясняет, что многие из этих персонажей играли важную роль в трактовке разных форм утраты социального

и личного характера. Эти утраты несомненно включали нереализованные, по-видимому трансформационные потенциалы, существовавшие в том же самом обществе.

Статья Анн Несбет посвящена тому, как в довоенной России в целях исторической фальсификации использовались мотивы воздушных шаров из «Вошебника страны Оз». Сюжет для детей должен был служить дополнительным или периферийным «свидетельством» того, что первый в мире шар был создан русскими, а не французами. Догма, знающая, что молчаливая, аффективная и метаморфическая сила детских повествований может осуществить социальные изменения лучше, полнее и даже эмоциональнее, чем попытки речевых, взрослых распоряжений, пытается присвоить ее себе.

Это, как кажется, позволяет нам обратиться к глубоким соображениям Юрия Левинга о том, что меняющиеся формы Винни-Пуха в 1960-х и 1970-х гг. отражают меняющийся идеологический климат, хотя — опять-таки — отнюдь не только реактивным образом. Подсказанные (или даже заказанные) данной системой, эти истории, а также другие им подобные оказались своего рода укором идеологии, воплотив идею революционных трансформаций более эффективным образом при помощи повествований о периодически случающихся маленьких метаморфозах.

Две теоретически строгие статьи Сергея Кузнецова и Константина Ключкина посвящены образу Чебурашки и прежде всего тематике грусти. Со временем отсутствие кинематографического диалога, речи вообще начинают все более преобладать в соответствующих детских текстах: будучи изначально способом уйти от стилевой напыщенности к энергичному, эмоционально вовлекающему действию, молчаливость постепенно становится выражением разочарования. Работа Александра Бараша о «Приключениях кота Леопольда» смело развивает тезисы Кузнецова и Ключкина; перед тем как обратиться к его аргументации, следует вспомнить, что время выхода мультфильмов про Леопольда простирается от середины 1970-х гг. до эпохи Горбачева. Здесь молчание отражает не разочарование, но социальную сферу, становившуюся все более немой и ожесточенной. Диалог и разговор уступили удару по голове сковородкой. Редакторы в предисловии замечают, как мультипликационные герои «резонировали идеологические перемены». Скучные застойные времена порой отражались в историях менее физически или философски «способных» персонажей. Активные герои иногда становились пассивными.

Когда могла бы снова появиться активная позиция? Завершающая сборник и наиболее современная по материалу статья

Биргит Беймерс проводит ряд исключительно уместных параллелей между сетевой героиней Масыней и Чебурашкой. После того как нам продемонстрировали сходство, можно попытаться найти различия. Чебурашка, например, очень мало говорит. Масыня, конечно, ругается как сапожник, словно подсказывая, что как только она перестанет биться головой о последнюю страницу словаря, от нее можно ожидать какого-нибудь молчаливого подвига. Через год-другой, после того как останутся позади патриотические фанфары по поводу нынешних «средневековых» мультфильмов (вроде «Приключений Аленушки и Еремы»), классические человечки могут вернуться опять, причем более чувствительные к изменениям габитуса. Не удивительно, что обложка книги демонстрирует этих классических героев на мавзолее Ленина. Именно там они и должны быть. Однако, судя по их лицам, пока что они кажутся редакторам книги более чем обеспокоенными сегодняшним днем. Будем надеяться на лучшие времена и более позитивные выражения на лицах наших любимцев, ведь, как было сказано одной мудрой девочкой в недавнем телесериале «Татьянин день», «как же можно обойтись без мультиков?»

*Дэвид МакФадьен*

*Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума*